

Жорж Роденбах



*вьше
жизни*

Жорж Роденбах

Выше жизни

«Водолей»

1892, 1897

УДК 84(4Бел=432.2)

ББК 821.133.1

Роденбах Ж.

Выше жизни / Ж. Роденбах — «Водолей», 1892,1897

ISBN 978-5-91763-416-6

Бельгийский поэт и писатель, «хроникер Прекрасной Эпохи» Жорж Роденбах (1855–1898) практиковал «экстремальный символизм» – верхнюю грань бодлеровской «поэзии соответствий», где осязаемы лишь знаки. В книгу вошли два известнейших его романа – «атмосферный» «Мертвый Брюгге» (1892), сочетающий элементы детектива и мистического триллера, и «Выше жизни» (1897) – рассказ о герое, сделавшем «неверный выбор» между двумя женщинами. Обе истории – о любви-одержимости, когда «события не играют никакой роли», но лишь «обнаруживают то, что таится внутри нас». Действие же происходит в Брюгге – городе, где время устроено, как часовая пружина, шаги не слышны на влажной от дождя земле, а улицы движутся по спирали, приводя прохожего к своему началу.

УДК 84(4Бел=432.2)

ББК 821.133.1

ISBN 978-5-91763-416-6

© Роденбах Ж., 1892,1897

© Водолей, 1892,1897

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Выше жизни | 5 |
| Часть первая | 5 |
| I | 5 |
| II | 9 |
| III | 13 |
| IV | 17 |
| V | 20 |
| VI | 23 |
| VII | 25 |
| VIII | 26 |
| IX | 31 |
| X | 34 |
| XI | 36 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 40 |

Жорж Роденбах

Выше жизни

Выше жизни

Часть первая

I

Большая площадь в Брюгге, обыкновенно пустынная, – так как ее пересекают только редкие прохожие, бедные, случайно попадающие сюда дети, немногие священники и монахини, – вдруг наполнилась неопределенными группами, точно черными островками на ее сером фоне. Образовывались отдельные кружки.

На первый октябрьский понедельник, в четыре часа, было назначено состязание *carillonneur*'ов¹. Место городского *carillonneur*'а было свободно после смерти престарелого Бавона де-Воса, с честью занимавшего его в течение двадцати лет. По обычаю, нужно было позаботиться об этом, устроив в этот день публичное состязание, чтобы собравшийся народ, так сказать, сам решил и заранее приветствовал победителя. Вот почему был назначен понедельник, этот день недели, когда работы кончаются в полдень, точно он еще является продолжением воскресного отдыха. Таким образом, избрание, на самом деле, могло бы быть народным и единодушным. Разве не справедливо было, чтобы *carillonneur* был избран именно таким путем? Игра колоколов, действительно, является народной музыкой. В других странах, в полных кипучей жизни столицах, только фейерверк создает настоящее народное празднество, обладает волшебным свойством возбуждать души. В этой мечтательной Фландрии, среди сырых и неподдающихся огненной силе туманов, его место занимают колокола. Это – фейерверк, к которому *прислушиваются*; огненные снопы, ракеты, вспышки пламени, тысячи искр звуков, также освежающих воздух, для полных ясновидения глаз, руководимых слухов...

Народ все еще прибывал. Из всех соседних улиц, *rue aux Laines*², *rue Flamande*³, приходили толпы, присоединявшиеся беспрестанно к образовавшимся раньше группам. Солнце уже заходило в эти короткие дни начала осени. Как раз на площадь спустился от него янтарный луч, еще более нежный оттого, что он был близок к концу. Мрачное здание крытого рынка, его суровый четырехугольник, его таинственные стены, точно созданные из одежд ночи, казались покрытыми медною окисью.

Что же касается башни, очень высокой и поднимавшейся над крышами, то она могла еще пользоваться полным светом заходящего как раз против нее солнца. На черном базисе она казалась совсем розовой, точно румяной. Свет переливался, играл, проходил по ней. Он обрисовывал столбики, готическую арку окон, ажурные башенки, все неровности камня; затем он разливал по ней нежные полосы, светлые ткани, точно знамена. От света массивная башня казалась точно движущейся, как бы текущей... Обыкновенно она нагромождала свои темные

¹ Слово *carillonneur* оставлено нами без перевода, так как русское слово звонарь не вполне передает его значение. На обязанности *carillonneur*'а лежит в главных городах Бельгии игра на колоколах, требующая большой музыкальности и художественного вкуса. – Прим. пер.

² Улицы О-Лен (фр.).

³ Фламандской улицы (фр.).

камни, в которых были скрыты мрак, кровь, подонки и пыль веков... Теперь же заход солнца отражался в ней, как в воде, а находящийся посередине, круглый, весь из золота циферблат казался как бы вторым солнцем, его отблеском!

Весь народ устремлял глаза на этот циферблат, в ожидании назначенного часа, тихо и почти молча. Толпа является суммой свойств, которые господствуют в отдельном человеке. В душе каждого представителя этой местности больше всего преобладает молчание. К тому же люди всегда охотно молчат, когда ждут чего-нибудь.

Однако жители города и предместий, богатые и бедные, стекались сюда, чтобы присутствовать на состязании. Окна были полны любопытных, равно как и все уступы в остроконечных домах на Большой площади. Последняя казалась пестрой, красиво движущейся. Золотой лев на доме *Vouchoute*⁴ сверкал в то время, как старинный фасад дома, к которому он был прикреплен, выставлял свои четыре этажа, свои освещенные солнцем кирпичи. Против него, на дворце губернатора, выделялись каменные львы, геральдические стражи старого фламандского стиля, восстановившего там чудную гармонию серых камней, цветных окон и тонких шпицев. На площадке готической лестницы сидели под малиновым балдахином губернатор провинции, городские власти в официальных костюмах с галунами, чтобы придать блеск этой церемонии, связанной с самыми старинными и дорогими воспоминаниями Фландрии.

Час состязания приближался.

Беспрерывно раздавались громкие удары самого большого колокола на башне. Это был колокол победы траура, славных событий и воскресных дней, отлитый в 1680 году, находящийся там, наверху, с этих самых пор; его удары, точно биение огромного красного сердца, отмечали внутри башни течение времени. В продолжение часа колокол точно обращался ко всем горизонтам, созывал. Затем удары внезапно стали медленнее, реже. Наступила полная тишина. Стрелки на циферблате, постоянно ищущие одна другую и затем снова обращающиеся в бегство, казались теперь циркулем. Еще одна или две минуты – и настанет четыре часа. Тогда среди безмолвия, созданного замолкшим колоколом, раздался нерешительный мотив, точно щебетание птиц, пробуждение гнезда, едва уловимые мелодические арпеджио.

Толпа слушала; некоторые подумали, что состязание уже началось; но это была только механическая игра колоколов, производимая медным цилиндром, поднимающим молотки и действующим по системе музыкальных ящиков. Кроме этого, колокола приводятся в движение также и клавишами, и вот именно этот вид игры все вскоре должны были услышать, когда начнется состязание музыкантов!

Пока колокола играли автоматически обычную прелюдию перед звоном каждого часа, точно воздушную вышивку, букет звуков, брошенных на прощание удаляющемуся времени... Не в этом ли и состоит основание самой игры колоколов доставить: немного радости, чтобы ослабить меланхолию времени, которое умирает в тот же миг?

По воздуху разнеслись четыре удара, продолжительных, сильных удара, на большом расстоянии друг от друга, непоправимых, как будто прибавивших крест в воздушном пространстве... Четыре часа! Это был час, назначенный для состязания. В толпе стало замечаться движение. Что-то вроде нетерпения стало овладевать ею...

Вдруг на балконе крытого рынка, недалеко от кронштейна, украшенного скульптурными изображениями ветвей и бараньих голов, где мечтает статуя Мадонны, на том самом балконе, откуда во всякую эпоху объявлялись законы, приказы, мирные трактаты и постановления общины, показался герольд, одетый в пурпур, точно предсказатель будущего, и объявивший через рупор состязание *сагиллоннеу*'ов в городе Брюгге открытым.

Толпа затихла, поглотила в себе весь свой ропот.

⁴ Дом Боукхоут, самое старое здание на Рыночной площади.

Только некоторые знали подробности: на состязание были записаны музыканты из городов Мехельна, Уденардена, Герентальса, еще другие, которые, быть может, откажутся, не считая еще случайных, так как всем было предоставлено право записываться до последней минуты.

После объявления с высоты балкона большой колокол быстро ударил три раза, как три удара *angelus*. Это было начало испытаний первого конкурента.

Действительно, сейчас же игра колоколов как бы нерешительно потрясла воздух. Это не была прежняя механическая игра. Теперь ощущалась свободная и прихотливая игра, вмешательство человека, пробуждающего колокола, один за другим, приводящего их в движение, сдерживающего и ласкающего, ведущего их впереди себя, как стадо. Начало было вовсе недурным, но за ним последовал какой-то беспорядок, казалось, точно один колокол упал, а другие обратились в бегство или отреклись...

Второй отрывок был исполнен лучше, но выбор был неудачен: это было попури из каких-то собранных вместе, как одежда арлекина, арий, – музыка, имевшая характер какого-то акробатического упражнения наверху башни!

Народ ничего не понял и остался холоден. Когда игра кончилась, послышались жидкие аплодисменты, точно шум вальков на берегу реки.

После перерыва большой колокол снова прозвонил свои три удара. Заиграл второй конкурент. Казалось, что он гораздо лучше владеет инструментом, но он сейчас же заставил колокола передавать рев *Марсельезы* и библейские мелодии английского гимна... И здесь успех был средний. Разочарованный народ начинал думать, что никогда нельзя будет заменить престарелого Бавона де-Воса, который столько лет играл на колоколах так, как это было нужно.

Следующее испытание было более тяжелым.

У этого конкурента была странная идея – сыграть отрывки из опереток и кафе-шантан-ных мотивов, в быстром и отрывистом темпе. Колокола прыгали, кричали, смеялись, точно падали стремглав, имея вид немного пьяных и безумных. Можно было бы подумать, что они подняли свои бронзовые юбочки, переваливались в циничном канкане. Народ был сначала удивлен, затем рассержен тем, что музыкант заставлял делать и говорить эти добрые столетние колокола. У всех было ощущение кощунства. По направлению к башне поднялись шиканья, в порыве негодования...

Тогда два уже записанных конкурента испугались, и отказались. Состязание, положительно, было неудачно. Неужели нужно было отложить избрание нового *carillonneur*'а? Но до тех пор герольд должен был снова показаться и спросить, не угодно ли еще кому-нибудь принять участие в состязании.

После этого обращения к народу раздался крик, и в то же время кем-то был сделан жест в первых рядах собравшейся толпы... Через минуту древняя дверь проскрипела на своих петлях: человек вошел.

Толпа заволновалась, стала беспокоиться, что-то разглашать. Никто ничего не знал. Что должно произойти? Разве состязание окончилось? Разумеется, ни один из выслушанных конкурентов не будет избран. Может быть, неожиданно кто-нибудь еще записался? Каждый узнавал, поднимался, спрашивал соседей, смотрел по направлению к балкону и площадкам башни, где трудно было различить, были ли это человеческие силуэты или вороны.

Вскоре большой колокол прозвонил еще раз свои три удара, – предварительный знак, традиционный залп, возвещающий нового музыканта!

После того как толпа ждала и отчаялась, она лучше прислушивалась, в особенности потому, что на этот раз колокола, играя нежно, требовали большого молчания. Начало было тихим, неясным; в нем не различались отдельные колокола, чередовавшиеся или смешивавшиеся, но слышался целый стройный бронзовый концерт, как бы очень далекий и очень старый. Мечтательная музыка! Она приходила не из башни, но гораздо дальше, из глубины неба

и глубины времен. Этому музыканту пришла мысль сыграть древние рождественские песни, фламандские рождественские напевы, создавшиеся в народе и являющиеся его отражением. Это было серьезно, немного печально, как все то, что пережило века. Это было очень старо, и между тем понятно даже детям! Что-то очень отдаленное, очень неопределенное, точно происходящее на границе безмолвия, но воспринятое всяким, перешедшее в душу каждого... Глаза у многих затуманились, так что нельзя было понять, были ли это слезы или тонкие серые капли звуков, входившие туда...

Весь народ был потрясен. Безмолвный и задумчивый, он чувствовал, как разворачивается по воздуху туманная нить его мечтаний, и ему нравилась именно эта туманность.

Когда окончилась серия старых рождественских напевов, толпа оставалась одну минуту безмолвной, как будто она проводила в мыслях, в царство Вечности, добрых предков, какими были на этот раз колокола, пришедшие передать им историю прошлого и запутанные рассказы, которые каждый может закончить по-своему...

Затем раздался взрыв криков, отражавших общее волнение, выражений радости, которые неслись кверху, достигали этажей, громоподобно, как черный плющ, на башню, доходили до нового *carillonneur*'а.

Это был неожиданный конкурент, случайный, появившийся в последнюю минуту!.. Огорченный посредственностью состязания, он вдруг поднялся на башню, в стеклянную комнату, где он часто навещал своего друга престарелого Бавона де-Воса. Не он ли теперь должен был заменить его?

Что делать? Ему надо было заиграть другой отрывок. Рождественские напевы – это были маленькие старушки, попадающиеся на дорогах истории, монахини, коленапреклоненные на краю воздуха. При помощи их народ, ожидавший там, внизу, возвращался к лучшим временам своей славы, к кладбищу своего прошлого... Он готов был теперь на героический поступок.

Музыкант вытер лоб, сел за клавиши, приводившие его в смущение, как церковный орган, – с педалями для больших колоколов, в то время как маленькие приводились в движение проволоками, поднимающимися от клавишей... точно нити для плетения музыки.

Колокола снова начали играть. Послышалась песнь о *Фландрском Льве*, старая народная песнь, известная всем и безыменная, как сама башня, как все, что заключает в себе целую расу. Столетние колокола словно молодели, повествуя о доблести и бессмертии Фландрии. Это был, действительно, призыв льва, пасть которого, как у льва священного писания, была полна пчел. Некогда каменный геральдический лев возвышался на башне. Казалось, что он вернется вместе с этим пением, столь же древним, как и он сам, и выйдет из башни, как из пещеры. На Большой площади, при заходящем солнце, зажигавшем свои последние огни, золотой лев на доме *Bouchoute* казался сверкающим, живым; а напротив каменные львы у дома губернатора увеличили свою тень, падавшую на толпу... Фландрский лев! Это был крик славы гильдий и торжествующих корпораций. Его считали как бы навсегда спрятанным в сундуках, окованных железом, где сохранялись хартии и привилегии древних князей в одном из залов башни... И вот теперь старая песнь воскресла. Фландрский лев! Песнь, напоминающая своим ритмом движение народа, похожая по размеру на мелопеи, одновременно воинственная и человеческая, – точно лицо в забрале...

Толпа слушала, задыхаясь. Никто даже не знал, звонили ли это колокола, и каким чудом сорок девять колоколов в башне сливались в один, – исполняя песнь единогодушного народа, в которой серебристые колокольчики, тяжелые колеблющиеся колокола казались теперь детьми, женщинами в плащах, героическими солдатами, возвращающимися в город, который считался мертвым. Толпа не ошибалась; как будто желая идти вперед, в этой процессии прошлого, воплощавшейся в пении, она запела в свою очередь благородный гимн. Это распространилось по всей Большой площади. Каждый присутствующий запел. Пение людей шло в воздухе навстречу пению колоколов; и душа Фландрии разливалась, как солнце, среди неба и моря.

Это эпическое опьянение на один момент возбудило молчаливую толпу, привыкшую к безмолвию, примирившуюся с спокойствием города, неподвижными каналами, серыми улицами и с давних пор полюбившую меланхолическое очарование отречения. Впрочем, древний героизм дремал в народе, искры скрывались в неподвижности камней. Внезапно кровь во всех жилах потекла быстрее. Как только замолкла музыка, сверкнул неожиданный, всеобщий, живой и безумный энтузиазм. Крики, возгласы, протянутые руки над головами, приветствия... Ах, чудесный музыкант! Это был герой, посланный Провидением, из рыцарских романов, пришедший последним, под непроницаемую броню, и одержавший победу на турнире. Кто же был этот человек, неожиданно появившийся в последнюю минуту, когда состязание уже казалось безрезультатным, после плачевного опыта первых музыкантов? Только некоторые, близко стоявшие к башне, могли заметить, когда он скрылся за дверью... Никто не знал его и не мог выяснить его личность.

Но вот герольд, одетый в пурпур, снова появился на балконе и в свой звонкий рупор крикнул: «Жорис Борлют!» Это было имя победителя.

Жорис Борлют... Имя как бы упало, слетело вниз, с высоты башни на черные ряды присутствующих, затем поднялось, полетело, перелетало, передавалось от одного к другому, с одной волны на другую, как чайка в море.

Через несколько минут дверь здания крытого рынка широко раскрылась... За герольдом, одетым в пурпур, шел человек, имя которого было в эту минуту у всех на устах. Герольд раздвинул толпу, образовал дорогу, чтобы проводить музыканта-победителя до лестницы дворца, где восседавшие городские власти должны были передать ему назначение.

Все расступились, как перед кем-нибудь, кто выше их, как перед епископом, когда он во время процессии несет реликвию св. Крови.

Жорис Борлют! Имя продолжало летать по Большой площади, ударяясь о фасады, окна и даже шпицы, повторяемое до бесконечности, уже знакомое всем, точно оно было написано им самим на открытом воздухе...

Между тем победитель, дойдя до площадки готической лестницы, был любезно встречен губернатором, городскими властями, которые, подтверждая всеобщее признание, подписали перед ним его назначение на должность городского *carillonneur*⁵. Затем они передали ему, как награду за его победу и удостоверение его должности, ключ, с железными украшениями, тяжелыми стальными арабесками, ключ, величественный, как посох. Это был ключ от башни, куда отныне он один мог входить, когда захочет, как будто он жил там или был ее владельцем.

Победитель, получив этот живописный дар, вдруг ощутил меланхолию, следующую всегда за каждым праздником, – чувство одиночества и непонятное волнение. Ему показалось, что он взял в руки ключ от своей гробницы.

II

Вечером, в день состязания, Борлют отправился, около девяти часов, к старому антикварию Ван-Гюлю, своему другу, как он имел обыкновение делать это каждый понедельник. Ван-Гюль занимал на *rue des Cordonniers Noirs*⁵ старый дом с двумя шпицами, кирпичный фасад которого был украшен над дверью барельефом, изображающим корабль, с надутыми, как груди, парусами. Некогда здесь помещалась корпорация лодочников в Брюгге, и подлинная дата 1578 на одном из скульптурных украшений подтверждала ее благородную древность. Дверь, замки, окна, – все было восстановлено со знанием дела по старым образцам; кирпичи были положены гладко, с прибавлением новых, местами – с медною окисью времени, оставленною в неприкосновенности на камнях. Эту замечательную реставрацию произвел Борлют

⁵ Улице Черных Кожевников (фр.).

для своего друга в начале своей деятельности, едва только окончив академию, где он изучал архитектуру. Это был урок для общества, урок красоты для всех тех, которые, владея старинными зданиями, предоставляли им погибать непоправимо или разрушали их, перестраивая в банальные современные дома.

Ван-Гюль гордился своим жилищем с отпечатком прошлого. Оно так хорошо подходило к его старинной мебели, его древним редкостям, так как он был скорее коллекционером, чем антиквариумом и торговцем; он продавал только тогда, если ему предлагали большую сумму, и если это подходило ему, человеку с фантазией, имевшему на это право, потому что он был богат. Он жил там с своими двумя дочерьми, оставшись очень рано вдовцом. Совершенно неожиданно и не сразу он сделался антиквариумом. Сначала он ограничивался тем, что любил и собирал старинные местные вещи: фаянсовые чашки, выкрашенные в темно-синий цвет, употреблявшиеся как кружки для пива; стеклянные шкапчики, сохраняющие какую-нибудь Мадонну из раскрашенного дерева, одетую в шелк и брюжское кружево; драгоценности, ожерелья, птиц для стрельбы в цель, принадлежавших гильдиям пятнадцатого века; сундуки с выпуклою крышкою в стиле фламандского ренессанса, всевозможные обломки минувших веков, неизменившиеся или испорченные, – все то, что могло свидетельствовать в настоящем о богатстве старого отечества. Но он покупал не столько для того, чтобы перепродавать и получать барыши, сколько из любви к Фландрии и к древней фламандской жизни.

Сходные души быстро узнают друг дружку в толпе и сближаются! Ни в какую эпоху, как бы исключительна она ни была, никогда не встречаются души, единственные в своем роде. Необходимо, чтобы идеал осуществлялся, чтобы каждая мысль формулировалась; вот почему судьба создает нескольких сходных между собою людей для того, чтобы не один, так другой достиг осуществления общей мечты... Всегда можно встретить несколько душ, в которых зародились одновременно те же семена, – для того, чтобы, по крайней мере, в одной из них расцвела неминуемая лилия!..

Старый антиквариум был страстным поклонником своей Фландрии; таков был и Борлют, так как его архитектурное искусство привело его к изучению Брюгге и заставило понять этот исключительный город, который в своем целом казался поэмой из камней, точно покрытою рисунками ракою. Борлют привязался к нему, желая украшать, восстанавливать всю чистоту его стиля; с самого начала он понял свое призвание и свою миссию... Естественно, что он, встретившись с Ван-Гюлем, сблизился с ним. Вскоре к ним присоединились и другие: Фаразэн, адвокат, который должен был сделаться защитником фламандского дела; Бартоломеус, художник, ревностный сторонник фламандского искусства. Таким образом, один и тот же идеал возбуждал их еженедельные сборища по понедельникам у старого антиквариума. Они приходили туда беседовать о Фландрии, как будто в ней что-то изменилось или что-то предстояло ей. Это были воспоминания, восторги, проекты. Думать об одном и том же, как им казалось, значило – владеть тайной. Они чувствовали от этого радость и волнение. Точно они были заговорщики! Тщетное возбуждение бездействующих и одиноких людей, предававшихся в этой серой жизни иллюзии дела и великой роли! Они обольщали себя словами и миражами. Впрочем, их патриотизм, наивный в своей основе, отличался горячностью; они мечтали для Фландрии и для Брюгге, каждый по-своему, о новой красоте.

В этот вечер у Ван-Гюля царил радостное настроение по случаю победы Борлюта. Это был день искусства и славы, когда город казался возрожденным, каким он был некогда, с народом, собравшимся на общественной площади, у подножия башни, тень которой по своей обширности могла всю ее закрыть. Когда Борлют вошел к антиквариуму, его друзья пожали ему руки, заключили его в свои объятия в молчаливом волнении. Он вполне был достоин Фландрии! Все ведь поняли его внезапное вмешательство...

– Да, – сказал Борлют, – когда я услышал в игре колоколов современные арии и мотивы, я почувствовал глубокую печаль. Я дрожал при мысли, что выберут одного из этих музыкантов,

который, таким образом, имел бы право официально дарить нас с высоты башни этой ужасной музыкой, осквернять ею наши каналы, церкви, лица. Тогда у меня неожиданно мелькнула мысль – записаться на состязание, чтобы вытеснить других. Я хорошо знал игру колоколов, так как иногда играл, когда навещал старого Бавона де-Воса. К тому же, когда знаешь устройство органа... Впрочем, я почти не знаю, как все это произошло. Я сходил с ума, вдохновлялся, был увлечен...

– Самое лучшее, – сказал Бартоломеус, – что вы заиграли наши старинные рождественские напевы. Слезы выступили у меня на глазах; это было так хорошо, так хорошо и так далеко, так далеко... Так люди должны иногда снова прислушиваться к песням своей кормилицы.

Фаразэн заговорил:

– Весь народ был потрясен, так как, действительно, это был голос его прошлого. Ах! Этот славный фландрский народ, – сколько энергии еще скрыто в нем, – энергии, которая блеснет, как только он снова познает самого себя. Отечество возродится, когда все более и более восстановится его язык.

Фаразэн увлекся, стал развивать обширный план возрождения и автономии:

– Необходимо, чтобы во Фландрии говорили по-фламандски не только среди народа, но и в собраниях, в суде; чтобы все акты, официальные бумаги, приказы, названия улиц, монеты, марки, – чтобы все было по-фламандски, так как мы живем во Фландрии, а по-французски пусть говорят во Франции, владычество которой здесь кончилось.

Ван-Гюль слушал, не говоря ни слова, молчаливый, как всегда, но небольшое, непреодолимое пламя вспыхивало в его неподвижных глазах... Эти проекты переворота беспокоили его; он предпочел бы более скромный и более молчаливый патриотизм, скорее культ по отношению к Брюгге, точно к памяти умершего, чью могилу украшают немногие друзья.

Бартоломеус настаивал:

– Да, но как удалить всех победителей?..

– Никто не был победителем, – возразил Фаразэн. – Пусть восстановят здесь фламандский язык, и народ явится новым, неиспорченным, таким, каким он был в средние века. Сама Испания не могла повлиять на его дух. Она оставила после себя известный след только в его крови. Ее победа была насилием. Вот почему во Фландрии являлись дети с черными волосами и душистою кожей... Можно встретить их еще и теперь.

Фаразэн, говоря это, повернулся в сторону одной из дочерей антиквария... Все улыбнулись. Барбара, действительно, представляла собою один из иноземных типов, с ее очень черными волосами, с красным, как индийский перец, ротиком на матовом лице; но ее глаза принадлежали, напротив, родной расе, были оттенка воды в каналах.

Она слушала спор с интересом и небольшим волнением, наполняя светлым пивом глиняные кружки; в это время возле нее ее сестра Годелива, равнодушная на вид, задумчивая, под шумную беседу занималась плетением кружев.

Художник взглянул на них.

– Конечно, – сказал он, – одна из них, это Фландрия, другая – Испания.

– Но душа у них одна, – возразил Фаразэн. – Во Фландрии все сходны между собою. Испания не могла захватить души... Что она оставила нам? Несколько названий улиц, как вот здесь, в Брюгге, rue des Espagnols⁶; вывески некоторых кабачков, местами – дом, когда-то занятый испанскими властями, с остроконечною крышею, готическими окнами, с крыльцом, по которому часто спускалась смерть... Вот и все! Брюгге остался неприкосновенным, повторяю я. Это не то, что Антверпен, который не только был изнасилован своим победителем, но даже полюбил его. Брюгге – это фламандская душа в ее цельности; Антверпен – фламандская душа, занятая испанцами; Брюгге – фламандская душа, оставленная в тени; Антверпен – фламанд-

⁶ Улица испанцев (фр.).

ская душа, выставленная под чужое солнце. Антверпен с того времени и до сих пор был скорее испанским, чем фламандским городом. Его напыщенность, его гордый вид, его цвета, его роскошь происходят от Испании, даже его погребальные колесницы, – закончил он, – золоченые, точно раки святых...

Все молчали в знак согласия, когда говорил Фаразэн. Он был, правда, отголоском их мыслей. В его речах было столько заразительно действующего лиризма, могучих жестов, схватывавших, казалось, каждый раз что-то вдруг созревшее в их душах...

– Впрочем, достаточно, – прибавил Бартоломеус, – сравнить таланты созданных ими художников: Брюгге выставил Мемлинга, который представляется ангелом; Антверпен – Рубенса, который является только посланником.

– А также их башни, – добавил Борлют. – Ничто не говорит более точно о народе, чем его башни. Он творит их по своему образцу и подобию. Колокольня церкви St. Sauveur⁷ в Брюгге носит суровый характер. Можно было бы подумать, что это – крепость Бога. Она создана только верою, поднимая одну над другой свои глыбы, как проявления веры... Колокольня в Антверпене, напротив, кажется легкой, ажурной, кокетливой, тоже немного испанской, с ее каменной мантильей, которую она закрывается от горизонта...

Бартоломеус прервал его, чтобы сделать справедливое замечание:

– Что бы ни осталось от Испании, даже в Антверпене, хоть она испортила его наполювину, везде во Фландрии, от моря до Шельды, надо приветствовать приход Испании, хотя он и дался ценою инквизиции, аутодафэ, пыток, пролитой крови и слез. Испания сохранила во Фландрии католицизм. Она спасла ее от реформации, так как без нее Фландрия сделалась бы протестантской, как Зеландия, провинция Утрехта, и все Нидерланды; и тогда Фландрия не была бы более Фландрией!..

– Пускай, – сказал Фаразэн, – но все монастыри, существующие теперь, представляют для нас другую опасность. У нас здесь столько религиозных общин, как нигде: капуцины, босоногие кармелиты, доминиканцы, семинаристы, не считая уже белого духовенства; а сколько женских общин: бегинки, кармелитки, редемптористки, сестры милосердия, сестры бедных, дамская английская община... Вот чем и объясняется отчасти, что в составе народонаселения города женщин на десять тысяч больше, чем мужчин, чего нет ни в одном городе на свете. Целомудрие равносильно бесплодию, и эти десять тысяч монахинь создают десять тысяч бедняков, которые содержатся на счет бюро благотворительности. Не с помощью их Брюгге скинет свой упадок и сделается снова великим!

Борлют вмешался в разговор. Его голос был серьезен. Чувствовалось, что он относится с любовью и ревностью к тому, о чем хотел говорить.

– Разве Брюгге теперь не велик? – отвечал он своему другу. – Его красота – в безмолвии, его слава состоит в том, что он принадлежит только немногим священникам и беднякам, т. е. всем тем, кто чище душою, так, как они отреклись от всего. Его лучшее назначение состоит в том, чтобы сделаться чем-нибудь, переживающим себя.

– Нет, – возразил Фаразэн, – лучше возвратить город к жизни; только жизнь имеет значение; надо всегда желать жить и любить жизнь!

Борлют отвечал с убежденностью апостола:

– Разве нельзя также любить смерть, любить печаль? Красота печали выше красоты жизни. Такова красота Брюгге. Конец великой славы! Последняя застывшая улыбка! Все замкнулось в себе: воды неподвижны, дома заперты, колокола тихо звонят в тумане. В этом – тайна его очарования. Зачем желать, чтобы город стал таким, как все другие! Он – один в своем роде. В нем живут, как в царстве воспоминания...

⁷ Святого Спасителя (фр.).

Все замолкли. Было уже поздно; трогательные слова Борлюта заставили встрепенуться их души. Его голос казался колоколом, возвещавшим о непоправимом событии. И теперь в комнате отзвук его речей еще ощущался, как струйки на воде, как эхо звука, который все еще слышится и не хочет прерваться. Казалось, что город, после того как о нем вспомнили в беседе, перелил в их души все свое безмолвие. Даже Барбара и Годелива, поднявшись, чтобы в последний раз наполнить светлым пивом пустые кружки, не осмеливались производить шум, заглушая свои шаги.

Каждый задумчиво возвращался домой, довольный вечером, где их объединила одинаковая любовь к Брюгге. Они говорили о городе, как о религии.

III

Через день, утром, Борлют направился к башне. Отныне он должен был играть на колоколах по воскресеньям, средам, субботам, а также и по праздникам, от одиннадцати до двенадцати.

Подходя все ближе к башне, он размышлял: подняться *выше жизни*! Разве он не может этого сделать теперь, разве он не сделает этого с сегодняшнего дня, поднимаясь на высоту? В глубине души он мечтал давно об этой отдельной от других жизни, об этом одиноком опьянении хранителя маяка, с того времени, как он навещал в башне престарелого Бавона де-Воса. Не поэтому ли он, в сущности, так поспешил принять участие в состязании *carillonneur*'ов? Теперь он признался в этом самому себе: он сделал это не только из влечения к искусству, из любви к городу и с целью воспрепятствовать тому, чтобы его красота безмолвия и запустения была осквернена преступною музыкою... Он предвкусил также в одно мгновение удовольствие от обладания, так сказать, вершиною башни, – от возможности подниматься туда, когда он захочет, господствовать над жизнью и людьми, жить как бы в преддверии бесконечности.

Выше жизни! Он повторял про себя эту таинственную фразу, воздушную фразу, которая, казалось, также поднималась, выпрямлялась, – благодаря чередованию слогов, была как бы символом ступенек темной лестницы, увеличивающейся и прорезающей воздух... *Выше жизни*! На равном расстоянии от Бога и земли... Жить уже в вечности, оставаясь человеком, чтобы волноваться, чувствовать и радоваться всеми силами, всем телом, воспоминаниями, любовью, желанием, гордостью, мечтами. *Жизнь* – сколько в ней грустных, неприятных и нечистых проявлений; *выше жизни* означало полет, треножник, магический алтарь в воздухе, где все зло испарялось и исчезало бы, как в слишком чистой атмосфере...

Таким образом, он поселится на краю неба, как пастырь колоколов; он будет жить, как птица, так далеко от города и людей, на одном уровне с облаками...

Когда он прошел двор крытого рынка, он очутился перед дверью во внутренность здания. Ключ, который ему дали, заставил замок издать железный крик, как будто ему нанесли удар мечом и поранили его. Дверь отворилась; она заперлась сама собой; можно было бы подумать, что она привыкла к невидимому движению теней. Сейчас же все потемнело, замолкло, и Борлют начал подниматься.

Сначала его ноги дрожали; ступеньки исчезали у него под ногами, некоторые из них были неровные, подрезанные, как края у колодца. Сколько поколений прошло здесь, неутомимых, как течение воды, и какое шествие веков потребовалось, чтобы достигнуть этой ветхости! Каменная лестница поворачивала короткими, извилистыми, точно змеиные кольца или ветви молодого винограда линиями. Он как бы брал приступом башню, как стену крепости. Время от времени появлялась амбразура, щель в здании, откуда падал багровый свет, – тонкий разрез, искажавший темноту. Разделяясь на частицы, мрак меняет все: можно было подумать, что стена движется, колышет саваны; тень на плафоне казалась сидящим животным, которое сейчас бросится...

Спираль лестницы вдруг суживается, напоминая ручей, который высыхает... Можно ли будет подняться еще выше, или стены его раздавят? Мрак внезапно увеличился. Борлюту казалось, что он уже прошел более ста ступенек. Но ему не пришло в голову сосчитать их. Теперь его шаг стал тихим, равномерным, инстинктивно уменьшался, в соответствии с каменными ступенями. Но из-за этого углубления в полный мрак у него была какая-то неясность в ощущениях. Борлют не понимал, в какую сторону он шел, вперед или назад, поднимался или спускался. Тщетно, ничего не видя, он старался понять направление своих шагов. Ему скорее казалось, что он спускался, что он двигался по подземной лестнице в глубокую мину, очень далеко от света, среди неподвижного царства каменного угля, чтобы вскоре достигнуть воды...

Тогда Борлют остановился, немного смущенный этими фантазмагориями мрака. Казалось, что он продолжает подниматься. Несмотря на его неподвижные ноги, можно было бы подумать, что лестница колыхается, несет его все дальше и что ступеньки теперь сами двигаются под его ногами.

Сначала – никакого шума, кроме его собственного эхо в башне... Только иногда раздается в пустоте шум, производимый летучей мышью, встревоженной неожиданными шагами, дрожащей в своих бархатных крыльях... Но затем все быстро опять затихло, насколько башня может быть тихой, прекращать этот неопределенный шум, это падение чего-то загадочного в песочные часы Вечности, куда пересыпается, песчинка за песчинкой, пыль веков.

В различных этажах Борлют находил пустынные, голые залы; можно было бы подумать, что это – житницы молчания.

Он все еще поднимался. Теперь на лестнице было уже светло: через отверстия, зубчатые площадки ажурной архитектуры проникал яркий и чистый свет, который падал на ступеньки, разбивался в виде пены, покрывал их неожиданным блеском.

Борлют ощутил радостное чувство примирения, исцеления, свободы после этой темницы и мрачного преддверия. Он снова овладел самим собою. Он перестал уподобляться ночи, охватившей его. Наконец, он себя видел. Он испытывал опьянение от сознания, что он существует, ходит. Сильный неожиданный ветер пробежал по его телу. Из-за быстрого притока света он почувствовал на своем лице точно лунное сияние. Теперь он поднимался скорее, точно на хорошем воздухе, где движение становится легче, дыхание быстрее. Ему хотелось бы побежать по каменной лестнице... Сильное желание подниматься охватило его... Часто говорят о притяжении пропасти. Существует также *пропасть высоты*... Борлют все еще поднимался; ему хотелось бы все подниматься, думая с грустью о том, что, разумеется, лестница кончится и что, в конце, на краю воздуха, он будет испытывать страстное желание продолжать свой путь, дальше, еще выше...

В эту минуту громкий гул раздался, распространился по узкой лестнице. Это был всегда стонущий ветер, поднимавшийся беспрестанно, спускавшийся по ступенькам. Печаль ветра, жалующегося одинаковым голосом в деревьях, парусах, башнях! Печаль ветра, заключающая в себе все остальные! В его резких воплях можно найти крики детей; в его жалобах – слезы женщин, в его ярости – хриплое рыдание мужчины, которое накапливается и выбивается наружу. Ветер, к которому прислушался Борлют, был еще подлинным напоминанием о земле, но уже неопределенным! Здесь был не более как мираж жалоб, слабых голосов, обрывков слишком человеческих печалей, чувствовавших смущение... Ветер приходил снизу; он был таким печальным, так как прошел через город; собранные им огорчения, которые там, внизу, носили жгучий характер, достигнув вместе с ним высоты башни, начинали растворяться, переходить из печали в меланхолию и из слез – в капли дождя...

Борлют подумал, что в этом состоит символ новой жизни, которую он начинал, этой жизни точно на маяке или на вершине горы, смутно грезившейся ему и случайно достигнутой; что каждый раз, как он отныне будет подниматься на башню, его горести будут растворяться в его душе, как жалобы разносятся ветром.

Он все еще поднимался. Временами раскрывались двери, показывая ему огромные комнаты, точно дортуары, где на тяжелых балках спали колокола. Борлют приблизился к ним в безотчетном волнении; они не вполне отдыхали, подобно тому как никогда не отдыхают вполне девушки. Мечты наполняли их сон. Можно было бы подумать, что они двигались, вытягивались, вскрикивали, как сомнамбулы. Беспрестанный гул колоколов! Шум, остающийся в них, как шум моря в раковинах! Никогда они не пустеют совсем. Звук, выступающий как капли пота! Туман бронзовой музыки...

Дальше, выше, – везде показывались новые колокола, повешенные в прямую линию, точно коленопреклоненные, в одинаковых одеждах, – живущие в башне, как в монастыре. Были большие колокола, более нежные, старые, в поношенной одежде, новые, как бы послушники, заменившие кого-нибудь из старого поколения, – словом, все виды монастырского населения, изменяющего свой состав, несмотря на однообразие правил ордена. Обитель колоколов, которые, однако, большею частью были основателями! В 1743 году эти новые сорок девять колоколов заменили старые 1299 года, отлитые Жаком дю-Мери и помещенные в башне. Но Борлют предполагал, что многие основные колокола продолжали жить, смешавшись с новыми. Во всяком случае, та же самая бронза служила, вероятно, для их перелива, и, таким образом, следовательно, старый металл XIII века продолжал свой бесконечный концерт.

Борлют начинал уже осваиваться. Он рассматривал вблизи эти добрые колокола, которые отныне будут ему подчиняться; он хотел узнать их. Один за другим он осматривал их, называл по имени, интересовался их историей. Иногда на металле была серебристая медная окись, словно следы морского прилива на каменной набережной, сложная татуировка, кровавые и серо-зеленые пятна, как пыль от резеды. Среди этих странных, химических явлений Борлют местами находил даты, прикрепленные, как драгоценности, или латинские надписи кругом всего колокола, имена крестных отца и матери, увековечивших свою память на новорожденном колоколе.

Борлют ходил, спешил, интересуясь всем, волнуясь в восхищаясь своими открытиями. Ветер на такой высоте усилился, сделался вдруг бешеным и шумным; но его звуки теперь представляли что-то самобытное, не походило на что-либо человеческое: это был голос силы и стихий, с которым может сравниться только голос моря.

Борлют понял, что приближается к зубчатой площадке башни, где лестница кончалась или останавливалась перед тем, как достигнуть вершины. Здесь, в углу этой площадки, находилась комната *carillonneur's*, воздушное жилище, стеклянный зал, откуда через шесть больших отверстий было видно все окружающее пространство. Подняться к ней – все равно, что взять ее приступом! Дул ветер, все более и более сильный и бешеный, вырвавшийся на свободу, как вода из шлюзов, распространившийся обширными полосами, предательскими порывами, напоминавший обрушивающиеся массы, падающие тяжести, затем вдруг затихавший, становившийся замкнутым, как стена. Борлют приближался, радостный от борьбы, как будто ветер, терзая его, срывая его одежды, желал избавить его от жизни и унести свободным и нагим в здоровый воздух вершины...

Наконец, он достиг небольшого воздушного жилища. Приют в гостинице по окончании путешествия! Тепло и безмолвие! Борлют узнал эту комнату; ничто не изменилось с того времени, как он посещал здесь иногда Бавона де-Воса, старого музыканта, не подозревая, что он заменит его когда-нибудь. Теперь все предметы обозначились с большею точностью, так как это помещение принадлежало уже ему, и он должен был проводить здесь, в свою очередь, в будущем много часов. Эта мысль несколько взволновала его...

Он будет здесь жить *выше жизни*! Действительно, он увидел через высокие окна необъятный пейзаж, город, расположенный там, внизу, в глубине, в пропасти. Он не решался взглянуть. Он боялся, что у него закружится голова. Необходимо было приучить свои глаза смотреть на мир из преддверия бесконечности, где, ему казалось, он очутился.

Гораздо ближе от себя он заметил клавиатуру колоколов, с пожелтевшею слоновой костью, педалями, искусственными железными нитями, поднимающимися от клавишей к колоколам, – весь сложный механизм. Он отыскал напротив небольшие часы, производившие странное впечатление своим маленьким размером в огромной башне, обнаруживавшие шум своей скромной регулярной жизни, это биение пульса предметов, заставляющее завидовать себе человеческое сердце... Смешно было подумать, что маленькие часики шли одинаково с огромными часами на башне. Они жили здесь, вблизи, как мышь в клетке льва.

Стрелки маленького циферблата приближались к одиннадцати. Борлют сейчас же услышал гул, точно смятение потревоженного гнезда, шум в саду, по которому гуляет ветер перед началом грозы.

Это было продолжительное трепетание, прелюдия игры колоколов, звонящих механически перед каждым часом, приводимых в движение медным цилиндром, с просверленными в нем четырехугольными отверстиями, делавшими его ажурным, как кружево. Борлют, заинтересованный механизмом, поспешил в комнату, где сосредоточены в этом цилиндре все соединительные нити колоколов. Борлют смотрел, изучал. Ему казалось, что он видит анатомию башни. Все мускулы, чувствительные нервы были открыты. Обширное тело башни продолжалось вниз и вверх. Но здесь группировались главные органы, ее трепещущее сердце, являющееся также сердцем Фландрии, биение которого Борлют в этот момент считал среди вековых сооружений.

Музыка усилилась, ее звуки сливались в общий гул от чрезмерной близости. Она была все же радостной как заря. Звук пробежал по всем октавам, как луч света по лугам. Один маленький колокол заливался как жаворонок; другие отвечали, точно пробуждение всех птиц, трепет, всех листьев. Один басовой колокол походил на сильное рычание быков... Борлют слушал, смешиваясь с этим обновлением деревенской природы, уже привыкнув к этой пастушеской музыке, как будто это была музыка его животных на его поле. Радость жизни! Вечность природы! Но едва только кончилась идиллия, как прозвонил, уничтожая все торжество колоколов, огромный серьезный колокол, возвещавший о смерти часа: одиннадцать громких, медленных ударов, на расстоянии один от другого, точно для того, чтобы показать, что люди чувствуют себя одинокими, когда умирают...

Одиннадцать часов! Наступило время, когда Борлют должен был начать свою деятельность. Он вернулся в комнату, где находилась клавиатура, и остался там. Но, как новичок и случайно взявший на себя эту обязанность, он не имел времени приготовить другие напевы. Он решился сыграть еще раз старинные рождественские песни, которые он играл на состязании. Он исполнил их с оттенками, волнуясь и ощущая как бы отрадную дрожь на конце пальцев, весь отдаваясь игре, так как вокруг него не было слышно шума, как в вечер состязания... Полная тишина! Он слушал, как его небольшие рождественские напевы разносились по воздуху, спускались, достигали колоколен, крыш, входили в дома. Встречали ли их там? Какая разница с тем днем, когда целая толпа схватывала их всей душой! Ему казалось невероятным, чтобы это могло случиться! Этого никогда более не будет. Заставит ли он кого-нибудь, по крайней мере, в этот момент поднять глаза к небу? Посылал ли он утешение какой-нибудь страдающей душе или меланхолию – слишком счастливому сердцу, тайну которого выдает его счастье!

Играть, таким образом, над толпой, это значило – создавать произведение искусства. Зачем желать знать, может ли оно волновать, восхищать, радовать, убаюкивать? Его творение должно удовлетворять его. Всегда оно распространяется, уходит от своего создателя, выполняет свою судьбу, о которой мы почти ничего не знаем. Наша собственная слава всегда является для нас чем-то посторонним и проходит так далеко от нас!

Так размышлял Борлют... Он нашел себе утешение. Он играл не для людей. Он выступил неожиданно на состязании единственно с целью создавать красоту, так как он один в эту минуту чувствовал себя способным подарить городу соответствующую музыку, обладающую

прелестью старины и меланхолии, как сам город. Таким образом, в Брюгге царила полная гармония. И так как он содействовал этому, он, значит, создал красоту. Но он завоевал башню не только для того, чтобы создать красоту. Он сделал это также для себя самого, чтобы уединиться, употреблять время благородным образом, покидать людей и жить *выше жизни*.

Он получил свою немедленную награду.

Борлют считал себя счастливым, невольно вздрогнул, слушая последние громкие звуки колоколов, которые являлись его собственными мечтами, как бы шепчущими урнами, куда перенеслась вся его душа.

IV

Мертвые города – храмы безмолвия. Они имеют также свои желоба со скульптурными украшениями: странные, неуравновешенные человеческие существа, полные сомнений, словно застывшие; они обрисовывают на серой массе, заимствующей от них весь свой характер, чуть заметное волнение неподвижной жизни. Души одних изломаны одиночеством; другие имеют озлобленный вид, так как их душевный пыл не нашел применения; здесь – маски скрытого сладострастия, там лица, на которые мистицизм кладет постоянно свой отпечаток... Такие человеческие существа одни только представляют интерес в монотонном населении этих городов. Старый антикварий Ван-Гюль был одним из этих странных типов; он жил одиноко в древнем доме на rue des Cordonniers Noirs со своими двумя дочерьми, Барбарой и Годеливой. Сначала он страстно отдался фламандскому делу, сгруппировал всех воинствующих патриотов, Бартоломеуса, Борлюта, Фаразэна, приходивших к нему каждый понедельник предаться гражданским надеждам. Незабвенные вечера, когда они составляли заговор *во имя* красоты Брюгге! С некоторого времени Ван-Гюль охладел ко всему этому. Он еще принимал своих друзей, выслушивал, как прежде, их беседы, обсуждения широких планов, но не принимал участия. У него явилась другая мания: он начал коллекционировать часы. Это случилось с ним самым неожиданным образом.

Его занятие как антиквария предрасполагало его к этому. Всю свою жизнь он отыскивал редкие безделушки, старинную мебель, фламандские редкости; но, старея, уставая, к тому же – не имея средств, он забросил свои дела, продавал что-нибудь только случайно какому-нибудь богатому иностранцу-любителю, посетившему город.

Около этого времени он опасно заболел, долго пролежал в постели и не скоро выздоровел. Медленность времени, бесконечные дни, разделенные на столько минут, которые приходилось считать и, так сказать, ссыпать одну за другой! Он чувствовал себя одиноким, жертвою продолжительности и скуки времени. В особенности к концу осени, в сумерки, проникавшие в окно, располагавшиеся на мебели в бледных тонах, огорчавшие зеркала разлукою со светом...

Ван-Гюль иногда спрашивал:

– Который час?

– Пять часов.

И он думал о долгом промежутке времени, который нужно ему еще прожить до ночи, до хорошего сна, дающего забвение и сокращающего расстояния.

Пять часов! На самом деле, он неожиданно слышал, как часы били на башне, после заключительных звуков игры колоколов, серьезным голосом священнослужителя, заставляющего умолкнуть колокольчики мальчиков из Церковного хора. Тогда он считал часы на башне с временем, указанным на циферблате его маленьких часов стиля *empire*⁸, стоявших на камине, с четырьмя колонками из белого мрамора, поддерживавшими небольшой фронтон, с украшениями из золоченой бронзы, в виде гибких лебединых шеек. От неподвижности и бездей-

⁸ Стиля Ампира (фр.).

ствия существования и мысли больной привык заниматься часами. Он интересовался ими, как живым существом, он смотрел на них, как на своего друга. Они учили его терпению. Они развлекали его игрою стрелок, шумом своих колес. Они извещали его о приближении лучших минут, часов, легкой трапезы. Увлекательный циферблат! Другие больные машинально считают глазами букеты на обоях, цветы на занавесках. Он же делал вычисления на часах. Он искал в них день своего выздоровления, который уже находился там среди других, – но еще очень неопределенный! Он следил за часами, поверял их, так как часто его часы шли вразрез с часами на башне.

Когда Ван-Гюль поправился, у него сохранилась эта забота *о точном времени*. Каждый раз, когда он выходил, он проверял по башенному циферблату свои карманные часы, которые он не заводил в течение всей своей болезни, и почти огорчался, если находил, что его часы немного спешат или отстают. Его пунктуальная жизнь, его обед, сон и вставание, всегда в определенное время, соразмерялись с этими мелочами.

– Однако, я опоздал на пять минут, – говорил он раздраженно.

Отныне он заботился, чтобы его карманные часы и стенные часы в его доме шли одинаково, – не только его маленькие часики *emprige* с бронзовыми лебедиными шейками, но и часы в кухне, с нарисованными на циферблате красными тюльпанами, с которыми его старая служанка Фараильда справлялась для хозяйственных дел.

В одну из своих прогулок, когда он выздоравливал, однажды, в пятницу, в торговый день, он остановился среди лавок на Большой площади, заметив случайно одни фламандские часы, немного странные на вид, привлечшие его внимание. Они были наполовину спрятаны, почти скрыты в беспорядке старых вещей, расположенных на мостовой.

На этом рынке все продается: полотно, ткани, железные предметы, земледельческие орудия, игрушки, древние вещи. Пестрая смесь, точно после переселения веков! Товары свалены, рассыпаны в беспорядке на земле, все покрыто слоем пыли, точно происходит опись в доме отсутствующего, стоявшем долгое время закрытым. . . Все старо, окислено, покрыто ржавчиной, побледнело и казалось бы безобразным, если бы не выглядывающее время от времени северное солнце, которое внезапно роняет полосы света, напоминающего золотистые оттенки на картинах Рембрандта. Среди этих руин, на этом кладбище предметов, Ван-Гюль отыскал неожиданно эти фламандские часы, сейчас же его заинтересовавшие. Они состояли из длинного дубового шкапа, со скульптурными украшениями на стенках, сильно потертыми от времени, и из чудесного металлического циферблата: на меди и олове были вырезаны рисунки, сделанные с фантазией и нежностью; вначале всего – дата их происхождения: 1700 год, и вокруг странная космография, где смеялось солнце, плыла, как гондола, продолговатая луна, раскинулись звезды с небольшими овечьими головками, приближавшиеся к цифрам часов, точно желая их сорвать. . .

Эти старинные часы положили начало мании Ван-Гюля; за ними последовали различные другие часы. . .

Он покупал их на аукционах, у антиквариев и золотых дел мастеров. Совершенно неожиданно он начал собирать целую коллекцию, интерес к которой у него возрастал, захватывая его.

Только тот человек счастлив, у кого есть какая-нибудь господствующая страсть в жизни! Она занимает его время, пустоту его мысли, наполняет неожиданностями его скуку, дает направление его безделью, оживляет быстрым и беспрестанным течением монотонную воду существования. Ван-Гюль нашел средство сделать свою жизнь интересной, в большей степени, чем это ему удавалось с помощью прежних тайных сборищ, платонического заговора, этого тщетного увлечения идеей о возрождении Фландрии, мало определенной и столь далекой.

Теперь для него наступило непосредственное осуществление его мечты, личное и продолжительное удовольствие. Среди этого сумрачного Брюгге, где он вел жизнь вдовца, без всяких событий, все дни которой отличались одинаковым сероватым оттенком, как воздух города,

какую неожиданную перемену должна была внести эта новая жизнь, полная напряженного внимания, постоянно стремящаяся к определенной цели! А удачное приобретение коллекционера! Неожиданная встреча, увеличившая его богатство! Ван-Гюль уже приобрел опытность. Он изучал, отыскивал, сравнивал. Он мог судить с первого взгляда, к какому времени относятся часы. Он производил диагностику возрасту, отличал подлинные часы от поддельных, понимал красоту стиля, знал некоторые надписи, иллюстрирующие их, как произведения искусства. Он вскоре стал владельцем целой серии разнообразных часов, собранных мало-помалу.

Он отправлялся в соседние города для добывания их. Он ходил на аукционы, где иногда, после похорон, можно было найти редкие, любопытные экземпляры, сохранявшиеся с незапамятных времен в древних родах. Его коллекция становилась значительной. У него были часы всех родов: в стиле ерпиге, мраморные и бронзовые или из золоченой бронзы, часы времен Людовика XV и Людовика XVI, с отделанными стенками, из розового дерева, с инкрустацией, мозаикой, изображениями любовных сцен, делавшими эти украшения шаловливыми, как рисунки на веере; мифологические, идиллические, воинственные столовые часы, фарфоровые часы из дорогого и хрупкого материала, – севрской и саксонской работы, где время смеется среди цветов; мавританские, нормандские или фламандские стенные часы, с шкапчиками из красного дерева или дуба, с боем, свистящим, как черный дрозд, скрипящим, как цепи колодца. Затем другие редкости: морские часы, где падающие капли воды обозначают секунды. Наконец, целая масса небольших часов на кронштейнах, великолепных карманных часов, столь же нежных и миниатюрных, как драгоценности.

Каждый раз, когда он делал новую покупку, он спешил поместить ее в большой комнате первого этажа, где находилась его коллекция; и новый пришелец сейчас же примешивал свое тикание металлической пчелы к тиканию других подобных пчел в этой таинственной комнате, казавшейся ульем времени...

Ван-Гюль был счастлив. Он мечтал еще о других родах часов, которых у него не было.

Разве не в этом состоит тонкое наслаждение коллекционера, чтобы его желание шло до бесконечности, не останавливалось бы ни перед чем, не достигало никогда полного обладания, разочаровывающего людей уже в силу своей полноты? Ах, какую отраду доставляет возможность до бесконечности *откладывать осуществление своего желания!* Ван-Гюль проводил целые дни в своем музее часов. Когда он отлучался, его очень беспокоила мысль, что могут войти туда под каким-нибудь предлогом, тронуть гири, потянуть цепи, разбить одно из его самых редких приобретений.

К счастью, его дочь Годелива была хорошим сторожем. Ей одной разрешалось оставаться там стирать пыль, убирать комнату своими осторожными руками, пальцы которых были легки, как крыло, смахивающее пыль со всех предметов. К тому же, она была его любимой дочерью. Барбара, старшая дочь, со своим испанским цветом лица, с красным, как индийский перец, ротиком, становилась иногда своенравной и раздражительной. Из-за пустяка она выходила из себя, сердилась, кричала от гнева. Он узнавал в ней темперамент матери, которую совсем молодой убила нервная болезнь. Впрочем, он все же любил ее, так как за ее дурным расположением духа следовала нежность, короткие и неожиданные ласки, точно затишье после бурного ветра, внезапно успокоившегося, убаюкивающего и ласкающего цветы.

В противоположность ей Годелива, младшая дочь, окружала его ровною привязанностью, прелестною в своем однообразии. Это была спокойная уверенность в чем-нибудь, что неизменно и навсегда определено. Она походила на него, как зеркало. Он видел себя в ней, так как она напоминала его. Это было его лицо, те же глаза цвета каналов, глаза северных жителей, в которых чувствуется вода; тот же немного длинный нос, тот же большой и гладкий лоб, точно стена храма, где ничто не просвечивает изнутри, кроме небольшого света, являющегося отголоском тихих радостей ума. Но, прежде всего, это была его душа, та же мистическая и нежная душа, охваченная внутренней мечтою, скрытная и молчаливая, точно занятая разматыванием

связок мыслей, запутанных туманом. Они часто проводили целые часы в одной комнате, не говоря ни слова, счастливые тем, что они вместе, счастливые тем, что кругом тишина. У них было ощущение, что они образуют одно существо.

Она, действительно, была его *плотью*. Можно было бы подумать, что она продолжала его, распространяя его вне его самого. Как только он желал чего-нибудь, она тотчас же это исполняла, как он это сделал бы сам. Он чувствовал, что она была опорой и орудием его воли. И, на самом деле, в буквальном смысле, *он смотрел ее глазами*.

Жизнь точно в унисон! Ежедневное чудо: оставаясь двумя людьми, – составлять как бы только одно существо! Старый антикварий дрожал при мысли, что Годелива когда-нибудь может выйти замуж, покинуть его! Поистине это был бы настоящий разрыв; что-нибудь из его существа ушло бы далеко от него. После этого он почувствовал бы себя точно искалеченным.

Он часто об этом думал, заранее испытывая ревность. Сначала он боялся, чтобы кто-нибудь из его экзальтированных патриотов, собиравшихся у него по понедельникам вечером, не полюбил Годеливы. Не было ли это неосторожностью с его стороны – принимать их? Не раскрывал ли он сам дверь своему несчастью? Жорис Борлют и Фаразэн были еще молоды. Но они казались закоренелыми холостяками, подобно Бартоломеусу, художнику, который для того, чтобы лучше уберечься от женитьбы, поселился в ограде монастыря, устроил там себе мастерскую в одной из покинутых обителей. Можно было бы подумать, что он вступил в брак с искусством... А другие, – разве они тоже не были обручены с городом, задавшись мыслью украсить его, как любимую женщину? В их душах не было места для новой страсти. По вечерам у него они слишком возбуждались подготовлением своего дела, обсуждением проектов и надежд, воскрешением старых знамен, чтобы обратить внимание на такую молчаливую девушку, какою была Годелива, сидевшая среди них. Шум от ее работы, подобно звукам молитвы, произносимой шепотом, не мог удовлетворить эти бурные сердца, мечтавшие услышать новое рычание Фландрского Льва.

Ван-Гюль был поэтому спокоен. Годелива находилась в безопасности. Она останется его дочерью. Что касается Барбары, с ее более пышной красотой, ее чудным и обещающим прекрасным плод ротиком, очень может быть, что она увлечет собою однажды кого-нибудь. Ах, если бы она могла выйти замуж! С какою радостью он дал бы свое согласие! Для него окончились бы его постоянные тревоги: раздражительное расположение духа, быстрые вспышки гнева из-за пустяков, сердитые слова, приступы слез, неприятности, во время которых дом точно переносил кораблекрушение.

Ван-Гюль трепетал от этой надежды: жить только в обществе Годеливы! Всегда с ней одной, до самой смерти! Неизменно тихая жизнь, такая спокойная, такая мирная, в которой не было бы другого шума, среди безмолвия, как биение ее собственного уравновешенного сердца, точно она являлась в музее часов лишними часами, – небольшими человеческими часиками, отражавшими спокойное лицо Времени.

V

Можно было бы подумать, что Борлют был влюблен в город.

Для всех видов любви у нас есть только одно сердце. Его культ произведений искусства или религии отличался такою же нежностью, как чувство мужчины к женщине. Он любил Брюгге за его красоту; и как любовник, он любил бы его еще сильнее, если бы он стал красивее. Его страсть не имела ничего общего с местным патриотизмом, сближающим всех жителей одного и того же города по привычкам, общим вкусам, родственным отношениям, узко понятому самолюбию. Он, напротив, жил почти одиноко, удалялся, мало сходил с жителями, посредственно рассуждающими. Даже на улицах он редко замечал прохожих. С тех пор, как он стал одиноким, он приходил в восторг от каналов, плачущих деревьев, низких мостиков,

колоколов, звон которых разносился по воздуху, старых стен в древних кварталах. Предметы интересовали его вместо живых существ.

Город сделался для него личностью, почти человеком... Он полюбил его, желая украшать, придавать роскошь его красоте, этой таинственной красоте, происходящей от сильной грусти, – в особенности, так мало бросающейся в глаза! Другие города очень хвастливы: они создают дворцы, поднимающиеся террасами сады, геометрически правильные памятники. Здесь все скрыто и полно нюансов. Историческая архитектура, фасады домов, похожие на хранимые реликвии, – остроконечные крыши, трубы, украшенные гвоздями, карнизы, желоба, барельефы, – бесконечные неожиданности, превращающие город как бы в живописный пейзаж из камня!

Это была смесь готического стиля и эпохи Возрождения, извилистый переход, внезапно смягчающий нежными и цветистыми линиями слишком суровую и обнаженную форму. Можно было бы подумать, что неожиданная весна появилась на стенах, что мечта их обновила, – и на них вдруг оказались лица и букеты...

Этот расцвет фасадов встречается и теперь, почерневший от работы веков, закоренелый, но уже несколько стертый.

Время продолжало здесь свою работу разрушения. Печальное разрушение заставляло бледнеть гирлянды, – покрывало, точно проказою, фигуры. Заделанные окна казались ослепленными глазами. Развалившаяся остроконечная крыша, став бесформенною, точно двигалась на костылях по направлению к Вечности. Один барельеф уже разлагался, как труп. Необходимо было вмешаться, спешить, бальзамировать смерть, перевязывать скульптурные украшения, лечить больные окна, придти на помощь старым стенам. Борлют почувствовал в себе призвание, увлекся архитектурю, не только, как ремеслом, не с целью строить, иметь успех, составить состояние... С самого поступления в академию, в самый лихорадочный период занятий, он думал только об одном: утилизировать все это для города, единственно для него, а не для себя! К чему предаваться честолюбивым мечтам о славе для себя, грезить о великом памятнике, создателем которого он мог бы быть, причем его имя было бы сохранено для будущих веков? Современная архитектура очень посредственна. Борлют часто думал об этом банкротстве, об этом упадке искусства, обольщающем себя архаизмами и повторениями.

И он приходил всегда к одному и тому же:

– В этом виноваты не отдельные индивидуумы. Виновата толпа! Ведь толпа строит памятники. Отдельный человек может выстроить частные дома, которые явятся тогда индивидуальной фантазией, выражением его собственной мечты. Напротив, соборы, башни, дворцы были выстроены толпою. Они созданы по ее образу и подобию. Но для этого необходимо, чтобы толпа имела общую душу, иногда неожиданно бьющуюся в унисон. Это замечание относится к Парфенону, являющемуся художественным произведением целого народа, к церквям, также созданием целого народа в области веры. Таким образом, памятник рождается из самой земли; народ, в сущности, создает, зарождает, воспроизводит в чреве земли, а архитекторы только принимают его из почвы. В настоящее время толпы, как таковой, уже не существует. В ней нет единства. Поэтому она не может более создать никакого памятника; разве только биржу, потому что здесь она объединилась в низменном стремлении к золоту; но какова может быть архитектура, или всякое другое искусство, которое будет создавать что-либо *против* Идеала?

Рассуждая таким образом, Борлют пришел сейчас же к тому выводу, что не надо ничего желать и делать для себя самого. Сколько благородства в стремлении отдаться городу, и если не наделить его новым шедевром, то реставрировать превосходные здания прежних веков, которых здесь было так много! Необходимый труд; слишком долго уже ждали, оставляя гибнуть усталые камни, древние жилища, благородные дворцы, стремившиеся превратиться в руины, которые принимают для них спокойную форму гробницы.

Нежный труд, – так как с ним связана опасность двоякого рода: опасность не реставрировать, потерять, таким образом, драгоценные следы прошлого, являющиеся как бы гербом города, отказаться от попытки облагородить настоящее с помощью прошлого, и опасность слишком много реставрировать, обновлять, заменять камень камнем, до такой степени, что в жилище и памятнике останется мало следов векового существования и они обратятся в призраки, обманчивую копию, восковую маску, снятую с мумии, вместо ее подлинного лица, сохраненного веками.

Борлют прежде всего заботился о том, чтобы сохранить возможно больше.

Таким образом, он для начала реставрировал фасад дома Ван-Гюля, сохраняя медную окись времени на стенах, оставляя неподвижными испорченные скульптурные украшения, словно аллею камней. Другой архитектор обтесал бы их заново. Борлют не дотронулся до них. Они приняли таинственную прелесть неоконченных вещей. Он старался ничего не стирать, не сглаживать, и на всем доме оставался старый вид, бледные краски, ржавчина, старомодные замки, оригинальные черепицы.

Эта реставрация дома Ван-Гюля решила сразу его судьбу. Все смотрели, восторгались чудом этого обновления, сохранявшего остатки старины, и каждый хотел спасти свой дом от смерти...

Борлют вскоре реставрировал все древние фасады. Среди них были иные неподражаемые, разбросанные вдоль улиц. Некоторые сохранили до нашего времени древнее обыкновение устраивать деревянные остроконечные крыши, на rue Cour de Gand⁹, rue Courte-de-l'Equerre¹⁰, подлинные модели которых мы видим украшающими набережную небольшого замерзшего порта, на картинах Пьера Пурбюса, находящихся в музее. Другие сохранились от более близкого времени, но они не менее живописны, с такою же остроконечною крышею, которая покрывает головным убором этих старушек, с видом монахинь, точно коленопреклоненных на берегу каналов... Украшение, чеканная работа, гербы, барельефы, бесчисленные неожиданности скульптуры – и эти тоны фасадов, бывшие под влиянием времени и дождя, с розовым оттенком бледнеющего вечера, голубоватую дымкою, сероватым туманом, всею этою поразительною плесенью, разрушением кирпичей, кровянистыми или синеватыми жилками, как цвет лица.

Борлют реставрировал, сортировал, оттенял чудесные места, соединял развалины, зарубцовывал царапины.

Улицы приняли веселый вид от этого обновления прабабушек или старых монахинь. Борлют избавил их от близкой смерти, сохранил, быть может, еще надолго... Его слава росла с каждым днем, в особенности с того времени, как городские власти, после его победы на состязании *carillonneur*'ов и в благодарность за то, что он им уже сделал, назначили его городским архитектором. Он обязан был, таким образом, следить за официальными работами, так как это стремление к реставрации, проводимое им, становилось общим, распространялось на общественные памятники.

После ратуши и *Maison du Greffe*¹¹, где разноцветная живопись, новая позолота точно одели в светлые ткани и драгоценности наготу камней, было решено приступить к реставрации дома *Gruuthuus*¹². Борлют принялся за работу, соорудил над кирпичным фасадом ажурную баллюстраду, слуховые окна с крючками и решетками, остроконечные шпицы XV века с гербами владельца этого дома, который укрывал здесь английского короля, изгнанного сторонниками Алой Розы. Старый дворец возродился, выходил из царства смерти, неожиданно

⁹ Улице Гентского Двора (фр.).

¹⁰ Улице Курт-де-Лекер (фр.).

¹¹ Здание, воздвигнутое в XVI веке и занятое судебными учреждениями.

¹² Дома Гротхейс (нид.).

казался полным жизни и как бы улыбающимся среди этого памятного квартала в Брюгге, где он должен был смягчить резкие порывы возвышающейся поблизости церкви Notre-Dame¹³, которая, нагромождая одну глыбу над другой, брала как бы приступом воздух, поднимая свои контрфорсы, площадки, закругления, точно подъемные мосты на небо. Это бесконечное скопление каменных сооружений, нагроможденных, запутанных, откуда вдруг вырывается башня, как крик.

Возле этого сурового здания дом Gruuthuus, по окончании реставрации, должен был несколько смягчить свой древний вид, сделавшийся более украшенным и ласкающим взор. Все ждали с нетерпением завершения этой работы, так как теперь город сильно заинтересовался своим украшением. Он понял свой долг, понял, что ему необходимо бороться с разрушением, восстанавливать свою красоту, клонившуюся уже к упадку. Понимание искусства вдруг низошло, как Святой Дух, просветило все сердца. Городские власти реставрировали памятники, частные лица – свои жилища, духовенство – церкви. Это было точно предназначение судьбы, магический знак, которому все подчинялись бессознательно и безотчетно. Движение в Брюгге было единодушным. Каждый желал участвовать в создании красоты, работал для города, который, таким образом, превращался сам в произведение искусства.

Среди этого порыва, вскоре захватившего всех, только один Борлют, его инициатор, немного охладел. Это произошло с тех пор, как его избрали *carillonneur*’ом, как он вошел на башню. Он интересовался менее прежнего предпринятыми реставрациями, исследованиями планов и архивов. Игра на колоколах интересовала его сильнее, чем рисунки или чертежи. К тому же он стал хуже работать. Когда он спускался с башни, ему нужно было брать себя в руки, чтобы избавиться от шума, ветра, гудевшего там, наверху, и остававшегося у него в ушах, как шум моря в раковинах. Сильное волнение не покидало его. Он плохо слушал, искал слова, удивлялся собственному голосу, спотыкался на мостовой. Прохожие пугали его. Он продолжал витать в облаках.

Даже когда он побеждал себя, что-то непонятное оставалось в нем, влиявшее на него, изменявшее его мысли и взгляды. То, чем он раньше интересовался, вдруг надоедало ему, вызывало равнодушие. В течение целых мгновений он не был более самим собою.

После его возвращений с башни у него было такое чувство, как будто он немного разучился жить!

VI

Когда Борлют поднимался на башню, он не удовлетворялся тем, что проводил там необходимое время, назначенный час для игры колоколов. Охотно он оставался там дольше, чем от него требовалось, медленно блуждая. Он открыл, таким образом, новые большие колокола, которых он еще не осматривал со времени своих первых восхождений. Прежде всего, огромный колокол, висевший в верхней части башни, точно обширная урна, внушительной древности, отлитый в 1680 году Мельхиором де-Газом и помеченный его именем. В его внутренность можно было смотреть, как в пропасть; получалось такое ощущение, точно человек стоит у обрыва утеса, отвесно спускающегося над морем. Можно было подумать, что в нем могло утонуть целое стадо. Взор не проникал до глубины.

Борлют нашел другой колокол, тоже обширный, который, однако, не был вовсе древним и обнаженным.

Металл был весь в украшениях: барельефы покрывали бронзовую одежду, как зеленоватые кружева. Разумеется, форма плавки этого колокола должна была быть очень сложна, как пластинка офорта. На расстоянии Борлют различал неопределенные лица и сцены. Но колокол

¹³ Божией Матери (фр.).

висел слишком высоко, чтобы он мог что-либо отчетливо различить. Заинтересовавшись, он взял лестницу, поднялся, очутился совсем близко. Бронза представляла безумную оргию, пьяную, сладострастную толпу сатиров и голых женщин, танцующих вокруг колокола, который своею круглою формою точно побуждал их танцевать сарабанду...

В перерывах парочки падали; они нагромождались, тело на тело, уста к устам, перемешивались в бешенстве желаний. Бронза выставляла напоказ детали... Виноградник греха, с пламенными прихотями, который переплетался, распространялся, снова падал к краям – и женская красота похищалась, как зрелые кисти!

Кое-где уединившиеся влюбленные, на повороте колокола в стороне от танцующих, неистовствовавших на отдалении, молча наслаждались своею любовью, как плодом. Казалось, они открыли друг другу свое обнаженное тело, не вполне созревшее для страсти... За исключением этих идиллических уголков, везде царила страсть, ревущая и циничная. Какая неожиданность – найти здесь этот колокол, точно сосуд сладострастия, среди всех остальных его братьев, молчаливых, без воспоминаний и дурных помыслов! Удивление Борлюта еще возросло, когда он нашел внутри следующую латинскую надпись: «*Ill^{mus} ac R^{mus} D. F. de Baillencourt Episc. Antw. me Dei Genitricis Omine et Nomine consecravit Anno 1629*». Действительно, это был колокол, о котором ему говорили, колокол из Антверпена, принадлежавший прежде церкви Notre-Dame и подаренный затем городу Брюгге. Таким образом, этот колокол носил имя Богородицы; он висел когда-то в церкви, звонил, призывая к святым службам! Это было вполне в духе Антверпена и его школы искусства.

Животное наслаждение тела! Можно было бы подумать, что в области бронзы это – идеал Рубенса, идеал Жорданса, отмечающих эти низменные моменты народной жизни; порыв инстинкта, бешенства оргии, пору любви, которая проявляется во Фландрии в виде вспышек, редких, жгучих, как лучи солнца. Но это видение принадлежало скорее Антверпену, чем Фландрии. Борлют вспомнил целомудренное, мистическое воображение художников Брюгге...

Этот колокол был чем-то чуждым. Однако он привлекал его внимание, внушал ему чувственные образы. В бронзе были видны упавшие на землю женщины, в вызывающих позах, с изгибом тела, с экстазом, точно с лунным светом на лице... Одни предлагали свои уста в форме чаши, другие распускали свои волосы, как сети. Призывы, искушения, разврат, еще более возбуждающий, так как он принимал стыдливую окраску, объятия, как бы замеченные в темноте, заканчивающиеся и увеличивающиеся под влиянием воображения! Все, что было на колоколе, Борлют почувствовал вдруг у себя в душе, которая, в свою очередь, наполнилась сладострастными образами. Он начал вызывать в своей памяти женщин, которых он сам видел в такой обстановке; он вспомнил прежних возлюбленных, оттенки опьянения; затем, неизвестно почему, он в мыслях перешел к дочерям старого антиквария Ван-Гюля, – но только к Барбаре! Можно было бы подумать, что Годелива, слишком целомудренная, являлась скорее одним из колоколов, находившихся в другой комнате башни, в черных одеждах, – точно у монахини, произнесшей свой обет. Барбара, напротив, казалась колоколом сладострастия; все грехи покрывали ее платье; и под ним он видел голое тело; он представлял себе эту нежную кожу, которая должна была быть у нее, так как она была тоже чужестранкой, в силу своего испанского происхождения...

Нечистое мечтание, внушенное ему колоколом! Неужели, в конце концов, он полюбит Барбару! Во всяком случае, он почувствовал, что сильно желал ее. Когда он вернулся в свою стеклянную комнату, он искал среди раскинутого города небольшую точку, где она жила, ходила, быть может, думала о нем. Он отыскал. Его взор блуждал по набережным, дошел до rue des Croyeurs Noirs, такой маленькой, незаметной, узкой, как водоросли среди прихотливых волн крыш. Она была там, конечно. И, привлеченный ею, он спустился вниз....

VII

Жорис Борлют начинал не вполне ясно понимать, что с ним творится. Каждый раз, когда он спускался с башни, трепет не покидал его в продолжение долгого времени, мысли были в беспорядке, воля поколебалась... Он искал себя. Он чувствовал себя как бы во власти ветров. Его голова наполнялась облаками. Звуки колоколов оставались у него в ушах, сопровождали его своим звучным дождем, сглаживавшим все остальные жизненные звуки... В особенности в его сердечных делах увеличивалось смущение. Уже давно Борлют заметил, что ходил аккуратно по понедельникам вечером к старому антикварию не только для того, чтобы видеть Ван-Гюля, Бартоломеуса, Фаразэна и других приверженцев фламандского дела и чтобы увлечься вместе с ними великими гражданскими надеждами. В этом удовольствии была замешана не только любовь к городу. Незаметно вкралась и другая любовь... Обе дочери Ван-Гюля присутствовали на этих вечерах, не похожие одна на другую, но одинаково привлекательные. От их присутствия ощущалась нежность, невидимо примешивавшаяся к суровым и воинственным темам разговора. Они вкладывали словно саше в изгибы знамен!.. Никто не заботился о них! К тому же Бартоломеус и другие казались закоренелыми холостяками. Впрочем, очарование делало свое дело. Теперь Борлют пробовал воспроизвести в своем уме зарождение своего чувства. Но как трудно достигнуть источника! Страсть возникает, как река. Сначала это было незаметно. Он чувствовал себя более счастливым каждый понедельник в ожидании вечера. Находясь в гостях, он начинал говорить прежде всего ради молодых девушек, стараясь быть красноречивым, чтобы понравиться им, выражая те мысли, которые он им приписывал. Он искал одобрения на их лицах. Вскоре, когда он возвращался домой в темную ночь по пустынным улицам, ему стало казаться, что они провожают его, окружают его, прежде чем он успеет заснуть, и даже во сне. Иногда, проводив своих друзей до их жилищ, он снова возвращался один к дому Ван-Гюля в надежде увидеть в каком-нибудь еще освещенном окне черный силуэт наполовину раздетых Годеливы или Барбары. Ночное волнение! Полная трепета остановка тени, жаждущей отождествиться с другою тенью, с темным фасадом на противоположной стороне улицы, чтобы увидеть что-нибудь, заранее войти в почти брачную близость!.. Борлют блуждал, уходил, снова возвращался, в особенности в некоторые вечера, когда ему казалось, что он заметил ответ на свое волнение, общий с ним порыв... Он мечтал увидеть более всего на экране шторы тень Годеливы, казавшейся теснее охваченной своими платьями.

Годелива была очень скрытна! Разумеется, она улыбалась немного, когда он обращался к ней, когда он говорил. Но эта улыбка была так неопределенна, что нельзя было даже понять, происходила ли она от счастья или от печали, относилась ли она столько же к воспоминанию, сколько к тайной радости или, может быть, просто была неподвижно оставшеюся складкою, унаследованным выражением, отзвуком счастья, которое знал кто-нибудь из ее предков...

К тому же она производила впечатление нежного создания прежних веков. Это был примитивный и неприкосновенный тип Фландрии. Возмужалая блондинка, точно Мадонна таких художников, как Ван-Эйк и Мемлинг. Волосы оттенка меда, распущенные по плечам, двигались, как тихие волны... Готический лоб поднимался в виде дуги, стены церкви, отшлифованной и обнаженной, а глаза казались двумя одноцветными окнами.

Жорис прежде всего почувствовал влечение к ней... Теперь, неизвестно почему, он начал мечтать о Барбаре. Ее трагическая красота захватывала его. У нее был странный цвет лица, точно вызванный внутренней грозой. И ее слишком красный ротик иногда заставлял его находить розовые губы Годеливы очень бледными... Впрочем, Годелива когда-то нравилась ему; конечно, она ему нравилась и теперь; это была хорошенькая девушка, вполне фламандка, в соответствии с его идеалом Брюгге и его исключительною народною гордостью. Барбара казалась чужестранкой, – но какое благоухание, сколько надежд на блаженство исходило от нее!

Вот почему он охладел к Годеливе. Он не знал теперь, куда влечет его сердце. Это была вина башни. Это произошло с ним с тех пор, как он увидел колокол сладострастия. Мгновенно перед всеми этими рельефными грехами, точно вышитыми объятиями, этими грудями, как виноградные кисти, добыча Ада, он начал думать о Барбаре, смотрел под колокол, точно под ее платье. Сильное чувственное влечение охватило его... И это желание, зародившееся наверху, не покидало его и на земле. Когда он созерцал двух сестер, его охватывало первоначальное чувство; прелесть готического лба Годеливы вновь пленяла его, но тотчас же желание, возникшее на башне, возобновлялось, сильное и неукротимое. Безвыходное волнение! Казалось, что дом и башня влияли на него в противоположном смысле. В доме Ван-Гюля он любил только Годеливу, так хорошо подходившую к старым вещам, являвшуюся как бы старинным портретом; и он думал о той тишине, которую она внесла бы в его жизнь, если бы он на ней женился, – с этою вечною улыбкою тайны, точно становящеюся неподвижной, чтобы не нарушить ничем безмолвия! Напротив, в башне он любил только Барбару, мучаясь желаниями, чувствуя любопытство по отношению к ней и ее любви, конечно, из-за сладострастного колокола, мрачного алькова, куда он углублялся с ней, как будто уже овладев ею, отдаваясь всем грехам, изображенным на бронзе...

Борлюту хотелось знать, объяснить себе свое состояние.

Он не понимал ясно свою жизнь с тех пор, как поднялся на башню. В сущности, эти колебания делали его очень несчастным. Он хотел утешиться, успокоиться...

Ах! как люди несчастны, думал он. Как все дурно устроено! Как непостоянны элементы нашей судьбы! И как трудно угадать ее! Известна только одна деталь, – цвет глаз или волос. Так, например, он ожидал давно для себя этих глаз оттенка воды, которые были у обеих девушек, Барбары и Годеливы. Ему представлялась его судьба, идущая к нему навстречу с этими глазами. Но какое лицо, какой ротик, какие волосы, какое тело, в особенности какую душу надо подобрать к этим глазам? Мы так мало знаем об этом, что легко можем заблудиться! Угаданный элемент, внушенный нам инстинктом или случайным предчувствием, является как бы ключом, бросаемым нам судьбой. И мы начинаем искать дом от этого ключа, который будет домом нашего счастья. К сожалению, ключ подходит только к одной двери. Начинаются поиски... Поиски ощупью! Осязание в темноте! Движения, желание остановить удаляющийся горизонт! Затем мы входим случайно. Чаще всего мы обманываемся: это не дом нашего счастья! Он только похож на него. Иногда является мысль, что можно было бы войти в еще худшее жилище. Но мы также думаем, что можно было бы, как это и случается иногда с некоторыми, проникнуть как раз в единственный привилегированный дом, обитель своего счастья. И сознания, что он *существовал* где-нибудь, достаточно, чтобы почувствовать отвращение к тому, где мы живем... Впрочем, большею частью люди покоряются.

В таком случае, – рассуждал Борлют, – если нам ничего неизвестно, выбирать бесполезно! К тому же судьба совершает все. Наша воля предается только иллюзии. Таким образом, когда он анализировал себя в последний раз, ему казалось, что, если бы он был свободен, он, правда, продолжал бы отдавать предпочтение Годеливе, но что его судьба побуждала его стремиться к Барбаре и что, в конце концов, он женится именно на ней...

VIII

Ах, эта тщетность наших надежд!.. Наша жизнь идет сама собой. Все, что мы комбинируем по мелочам, в последнюю минуту исчезает или изменяется...

Мы следуем по большой дороге в лесу событий, где всегда темно. В конце виднеется небольшой огонек, который мы считаем добрым пристанищем. И вдруг мы приходим к распутию, идем в сторону, по дороге, ведущей к другим освещенным окнам. Все происходит не так, как мы думаем. И почти всегда женщина управляет нами, смешивает наши пути, сообразуясь

с линиями своей руки. Наше счастье или наше несчастье происходит или исчезает исключительно по ее капризу, состоянию ее нервов в какое-нибудь утро или вечер...

Судьба Жориса решилась в одну минуту. Он считал свое положение безвыходным. Один взгляд Барбары все изменил, решил бесповоротно. Однажды, в понедельник, вечером, в день их еженедельных собраний у старого антиквария, он пришел пораньше. Произошло ли это от рассеянности, от того, что он забыл настоящий час, или он это сделал нарочно, чтобы, придя первым, быть одному, очутиться в тесной семейной обстановке? Он более, чем когда-либо, мечтал в этот день о Барбаре, был охвачен ею. Это было точно предупреждение, предчувствие чего-то рокового, что приближается... Когда он вошел в старый, хорошо ему знакомый зал, он нашел там Барбару, расставлявшую стаканы и чашки для чая. Она была одна и имела озабоченный вид. Сначала Жорис немного смутился, но обрадовался ее одиночеству. И как бы для того, чтобы убедиться в его продолжительности, он спросил:

– А ваш отец?

– Ах! он очень занят сегодня... Он убирает свой музей часов, куда он не пускает прислугу. Он заперся там на целый день с Гodelивой.

– А вы?

– Ах! я... я, как всегда, одна... Я им вовсе не нужна!..

Барбара глубоко вздохнула.

– Что с вами? – спросил Жорис, вдруг охваченный непонятным волнением, очень нежным состраданием, видя ее такой печальной, готовой почти заплакать.

Скрытная, как всегда, она ничего не отвечала.

– Скажите мне, что с вами? – снова спросил Жорис немного взволнованным голосом.

Тогда Барбара призналась с большой живостью; слова слетали с ее уст, как брызги, как каскады слишком сдержанного и гневного источника:

– Меня... меня тяготит моя жизнь! Я хотела бы изменить ее!

Затем она рассказала о своем однообразном существовании молодой девушки. Ее отец, как ей казалось, не любил ее. Он отдал все свое сердце младшей сестре, похожей на него. Беспрепятственно они сговариваются о чем-то, из чего она исключена. Друг к другу они внимательны, нежны, ласковы... И всегда согласны... всегда вместе... Они проводят, например, целые дни вместе в музее часов, – ее отец работает на своем станке, разбирая колеса, отдаваясь всей своей мании; Гodelива возле него – с подушкой для плетения кружев, – и время от времени они улыбаются друг другу посреди работы. Она же – она не создана для этих нежностей... Вот почему ни ее отец, ни ее сестра не любят ее. Она живет у них, как посторонняя.

Барбара снова собиралась заплакать.

– Ах! да, я хотела бы переменить жизнь! – повторила она.

Жорис заволновался, видя ее горе. Она была так красива, еще более красива от огорчения, когда ее глаза, в попытке заплакать, делались особенно глубоки.

Жорис чувствовал себя глубоко тронутым. Сильное желание, чтобы она была счастлива и обязана ему своим счастьем, вдруг охватило его. Ее ротик, по которому протекло несколько слез, казался влажным цветком, страдающим и отдающимся...

Вскоре Жорис не видел больше ничего, кроме этого соблазнительного и привлекательного ротика. Ему казалось, что ее губки давно были с ним неразлучны, как будто имели свою отдельную жизнь, точно заброшенный цветок, который можно сорвать в саду ее тела. Люди любят всегда за одну подробность, какой-нибудь оттенок. Это – точка опоры, которую они создают себе в беспорядке, бесконечности любви. Самые сильные страсти происходят от таких маленьких причин! За что мы любим? За цвет волос, интонацию голоса, крупницу красоты, вызывающую волнение, за выражение глаз, очертание рук, некоторый трепет ноздрей, которые дрожат, точно они всегда находятся у моря. Жорис полюбил Барбару за ее ротик, который в

эту минуту дрожал под влиянием ее огорчения, был еще живее от накопившихся слез, имел вид цветка, орошенного слишком обильным дождем.

Барбара замолкла: она заметила волнение Жориса, его внутреннюю дрожь... Она взглянула на него решительно, устремив на него свои глаза, точно давала согласие.

В то же время ее ротик, точно вдруг созревший, превратившийся из цветка в плод, обратил свою красоту. Жорис, чувствуя, что он поддается неизбежному закону, подошел к ней.

– Вы хотели бы изменить жизнь? – сказал он после паузы... Его голос дрожал, немного прерываясь, как после бега, вполне соразмерно со своим пульсом, как бы биением своего сердца, звуки которого он отчетливо слышал.

– Ах, да, – сказала Барбара, не переставая смотреть на него.

– Ну, что же! Это не трудно, – продолжал Жорис.

Барбара ничего не ответила; она опустила глаза, немного смущаясь, печальная, сознавая, что наступала важная минута, когда все решится. Оттого, что она вдруг побледнела, несмотря на свой всегда матовый цвета лица, губки казались еще более красными.

Весь ее вид давал согласие...

Тогда Жорис не выдержал, он чувствовал себя неспособным найти еще слова. Вдруг, подойдя к ней, он взял ее за руки, прижал их вдоль ее тела, и охваченный волнением, безумной смелостью, не зная почему, слишком очарованный ее ротиком, он прильнул к нему своими устами, слился с ними, пожирая их... Евхаристия любви! Пламенная облатка! В эту минуту он как бы овладел ею весь, с помощью ее губ, которые были олицетворением ее красоты!

Через несколько минут вошли вместе Ван-Гюль и Годелива, окончив, наконец, уборку, мелочное уничтожение пыли в музее часов. Они не были вовсе удивлены, найдя Барбару с Жорисом. Он был свой человек! К тому же Ван-Гюль оставался рассеянным, занятым еще своими дневными работами, сделанными им изменениями, так как переставлять предметы для коллекционера, значит – почти возобновлять их. Он ничего не заметил, Годелива тоже; казалось, она всегда смотрела вдаль, думала о постороннем. Борлют пробовал заговорить о чем-нибудь. Машинальные фразы, ничего не значащие, совершенно бесцельные слова!.. Ах, эта попытка возвратиться к жизни, когда человек вдруг достиг глубины любви!..

Борлют сейчас же ощутил то впечатление странной беспорядочности, какое он испытывал, спускаясь с башни, он спотыкался теперь в словах, как там – о мостовую. Ему представлялось, что он возвратился из путешествия, чувствовал себя плохо, с ощущением внутреннего одиночества и неопределенности. Разве полюбить – то же самое, что взойти на башню?.. Но любовь казалась башнею с светлыми лестницами! Ему представлялось, что он покинул жизнь, поднялся очень высоко, еще раз оказался *выше жизни*. Головокружительный подъем, лестница, по которой поднимаются вдвоем, чтобы отправиться на поиски своих душ, точно каких-нибудь неведомых колоколов... В продолжение целого вечера Борлют оставался рассеянным, равнодушным, меланхолическим оттого, что спустился на землю.

В следующие дни в его душе увлечение Барбарой продолжалось. Он понимал теперь, что произошло решительное, неизгладимое событие. Зачем он столько рассуждал, обдумывал, анализировал свои чувства? Тело быстро решает все! Непонятная сила бросила его к роту молодой девушки... У него не было недостатка в предупреждениях со стороны Судьбы. Он всегда увлекался этим ротиком, свежим и пламенным, как будто он был одновременно цветком и огнем. Этот ротик благословил его. Это было непоправимо. Он не имел сил препятствовать этому. Это было дело одной минуты, но эта минута соединилась с Вечностью.

Борлют считал себя отныне несвободным. Если бы он отступил, это было бы кошунством, печальною профанацией этих божественных губок. Он называл уже мысленно Барбару своей невестой и женой. Он не хотел никаких уверток совести, чтобы избегнуть исполнения долга, хотя ни одним окончательным словом любви, никаким обещанием, клятвою – они не обмена-

лись между собою в вечер их поцелуя. Все равно достаточно было одного поцелуя. Прикоснувшись к ее красным губкам, Жорис запечатлел этим безмолвный и ненарушимый договор.

К тому же ни одной минуты он не думал о том, чтобы отказаться. Он твердо решился. Он пришел однажды к старому антикварию.

– Я явился, дорогой друг, по важному делу...

– Как вы это говорите? Что случилось?

Борлют смутился... Он составил план разговора, но в эту минуту он все забыл.

Он взволновался, сделался сентиментальным.

– Сколько времени мы с вами друзья!

– Да, пять лет, – сказал Ван-Гюль, – дата на моем старом доме – дата его реставрации и нашей дружбы.

Переход был удобен. Борлют воспользовался им.

– Хотите ли вы, чтобы мы были еще лучшими друзьями, еще более близкими?

Старый антикварий смотрел широко раскрытыми глазами, не понимая его.

– Да, – снова сказал Борлют, – у вас две дочери...

Тогда, в одно мгновение, лицо Ван-Гюля переменилось; небольшой огонек блеснул в его глазах.

– Ах! нет... Не будем говорить об этом, – живо возразил он, охваченный сильным волнением.

– Как? – настаивал Борлют.

Ничего не объясняя ему, антикварий продолжал, все более и более волнуясь:

– Это бесполезно... прошу вас... к тому же, Годелива об этом больше не думает... Годелива не выйдет замуж... Она хочет остаться со мной... Подождите, по крайней мере, пока я умру...

И Ван-Гюль согнулся, полный отчаяния, бесконечного огорчения.

Ничего не слушая, теряя голову, как будто он был один, он начал охать и жаловаться вслух:

– Это должно было случиться... Неизбежно! Любовь заразительна. Впрочем, моя добрая Годелива хорошо скрывала, что любила вас. Я один знал об этом. Она доверилась только мне, когда еще сама хорошо не сознавала этого. Мы все говорим друг другу. Впрочем, она отказалась от своих надежд... Она забыла о своей любви ради меня, чтобы остаться со мною, чтобы не оставить меня одного на старости лет, чтобы я не умер, так как я не могу жить без нее. А теперь вы, в свою очередь, полюбили ее; вы говорите мне об этом. Она узнает, заметит это. Что станет со мной? Я буду одинок. Ах! нет, нет, оставьте мне Годеливу!

Старый антикварий умолял, сжимал руки, волнуясь при мысли об опасности, которая ему угрожала, без конца повторяя имя Годеливы, как скупой повторяет сумму богатства, которого он должен лишиться...

Борлют был удивлен этим открытием и этою отцовскою привязанностью, выражавшеюся в раздирательных криках страстной нежности. Ван-Гюль говорил так быстро и прерывисто, как течение воды засыхающего источника: он до такой степени поддался этому отчаянию, перестал отдавать себе отчет во всем, что Борлют не имел времени вставить какую-нибудь фразу, перевести разговор на верную почву.

Воспользовавшись минутою успокоения, он прервал быстро Ван-Гюля:

– Но я люблю Барбару! Ее руки я пришел просить.

Тогда Ван-Гюль, спасенный от опасности, от которой он думал, что погибнет, бросился, как безумный, к Жорису, обнял его, плакал и кричал одновременно, положив голову на плечо своему другу, точно от обилия слишком большого счастья, которое он не в силах был перенести. И он машинально, без конца, повторял те же слова голосом сомнамбулы.

– Ах, да... да! Это не Годелива... это не Годелива...

Он немного успокоился. Итак, дело шло о Барбаре. Какое счастье! Конечно, конечно, он согласен, он отдает ее с радостью.

– Ах! Пусть она вас сделает счастливым! Вы этого вполне заслуживаете! Но как я мог предвидеть?

Ван-Гюль сделался задумчивым. Он снова обернулся к Борлюту.

– Итак, вы ничего не знали? – спросил он его, плохо сознавая то, что случилось. – Вы не догадывались, что Годелива вас любила в прошлом году? Она, бедненькая, так страдала! Она пожертвовала собой ради меня. Теперь все кончено... Но разве Барбара вас тоже любит? Говорила ли она вам?

Борлют ответил утвердительно.

Тогда старый антикварий смутился. Как все это могло случиться? Обе сестры, одна за другой, полюбили Борлюта...

В конце концов, это было понятно. Они видели мало молодых людей, ведя замкнутый, одинокий образ жизни. А Борлют был привлекателен, ему все удавалось, перед ним раскрывалась хорошая карьера, его имя становилось популярным. К счастью, все кончалось хорошо. Он увлекся только Барбарой и хотел жениться на ней. Ван-Гюль немного беспокоился только, как бы ее прихотливый, вспыльчивый характер, ее расстроенные нервы, которые вдруг запутывали все ее мысли, овладевали ее сердцем, не сделали несчастным этого благородного Борлюта, которого он уже любил, как родного сына... Но сомнение Ван-Гюля продолжалось недолго: «это пройдет, благодаря любви, исчезнет с годами», – подумал он, быстро придя в радостное настроение после своей тревоги, торжествуя при мысли, что у него останется Годелива, ставшая еще более дорогой, как бы оправившейся от недуга, под влиянием страха потерять ее, который охватил его одну минуту.

– В особенности, – настаивал Ван-Гюль, – не говорите ничего Годеливе... тем более Барбаре. Пусть это умрет с нами! Пусть будет так, как будто я вам ничего не сказал, точно ничего и не было...

Борлют не обратил внимания на поверенную ему тайну. Все молодые девушки испытывают иногда мимолетное влечение к тем, кого они встречают на своем пути, – попытки найти счастье, наброски из глины перед созданием большой статуи любви, занимающей всю жизнь и возвышающейся даже над могилой... К тому же, он был всецело предан Барбаре. Он чувствовал себя связанным с нею. После того как он прильнул к ее устам, создался вечный долг. Ее ротик казался ему теперь живою раной, точкою, где они соединились, где в течение одной минуты они составляли одно существо, отчего ее ротик остался как бы кровавым, страдающим от разрыва...

Он радовался, что все так произошло. Увлечение ею продолжалось. Действительно, она была красива и обаятельна! Сильный аромат молодого тела, его свежесть, точно сок плода, остались у него от этого поглощенного ротика. Он мечтал о том, чтобы снова прильнуть к нему, овладеть, наконец, всем ее телом...

Теперь он понимал себя. Только ее, ее одну он желал все время, когда непонятное очарование влекло его в дом Ван-Гюля, озаряло их собрания по понедельникам, в продолжение серой и однообразной недели, как бы полной ожидания лунного света. Он все понял с минуты объяснения. Никогда он не желал Годеливы. Он пережил наверно некоторое волнение, потому что она втайне любила его, – а любовь заразительна! Одно время он находился между двумя сестрами, как между двумя источниками. Они обе действовали на него. В тот момент он не владел собою. Когда же Годелива отрекалась, он снова стал самим собою. И тогда его освободившая воля избрала Барбару. Он любил ее! Он возбуждал себя изливаниями сердца, наблюдениями, первыми пожатиями рук, с помощью которых люди как будто немного отдаются друг другу!

Свадьба была назначена в скором будущем.

Жорис часто приходил в дом антиквария. Барбара преобразилась под влиянием радости. Наконец-то она изменит жизнь, будет счастлива! Иногда они выходили вдвоем. Жорис водил ее в музей смотреть большой триптих Мемлинга, где была нарисована святая Барбара, ее покровительница, держащая в руках башню. Разве в этом не было аллегории их отношений? Часто он думал об этом в начале их любви. Башня – это был он, так как он сам часто находился в башне и создавал ее музыку, как бы ее совесть. Все это Барбара должна была нести, заключить в свои тонкие пальцы, как святая Барбара триптиха поддерживает на своей ладони маленькую золотую колокольню, которая доверяется ей и может разбиться, если бы ей вздумалось повернуть руку.

Жорис восторгался картиной старого мастера. Он нежно смотрел на Барбару, говоря: – Моя башня в твоей руке, а мое сердце в этой башне.

Барбара улыбалась. Жорис показывал ей нарисованные по бокам портреты жертвователей: старого Гильома Мореля, бургомистра Брюгге, его жены перед Богом, Барбары де-Флендерберх, и их детей с неравными головками, – пять сыновей и одиннадцать дочерей, расставленных, расположенных как черепицы на крыше! Жилище счастья, созданное из лиц!

Поучительный образец древних семейств Фландрии.

Борлют задумался, мечтал о подобном потомстве, которое, быть может, будет у них и увеличит расу.

Таким образом, любовь вернула его к жизни. Любя Барбару, он меньше любил город, его запустение и тишину.

Отныне, даже когда он всходил на башню в обычные часы игры колоколов, он более не испытывал прежнего ощущения, как будто он поднимался далеко, все выше, покидал свет, отрекался от самого себя, находился *выше жизни*. Теперь за ним на вершину следовала жизнь, его жизнь... Он не стремился более к небу, к облакам... С зубчатой площадки башни он смотрел на город, интересовался прохожими, думал о Барбаре, представлял себе матовый цвет ее лица, ее увлекательный аромат, в особенности, ее очень красный ротик. Там, внизу, нагромождались красные крыши. Он сравнивал... Побледневшие черепицы казались розами в сумерки, пурпуром старых знамен.

Там были образцы очень яркого и очень поблекшего красного цвета, напоминавшего стусившийся свет, ржавчину или рану, но все это казалось чем-то застывшим, устарелым, точно посмертным...

Это было как бы кладбище красного цвета, вдали, над серым городом. Тогда Жорис искал, как ему казалось, – даже видел, в конце концов, единственно живой и торжествующий красный оттенок ротика Барбары, – пряный перец, заставляющий бледнеть все черепицы...

IX

Однажды Борлют сообщил Бартоломеусу большую новость, добрую весть, наполнившую радостью душу художника. Одно из лиц городского управления передало ему, что городской совет, наконец, вотировал заказ его другу, важную работу, которой тот ждал годами, – т. е. украшение Ратуши, обширные фрески в зале заседаний. Для него это было осуществлением старой мечты, возможностью проявить способности декоратора, которые он чувствовал в себе, страдая от бездействия. Он мог бы, таким образом, расположить вдоль стен чудные наброски, назревшие в его уме.

Борлют отправился по направлению к ограде монастыря, где жил Бартоломеус. Под влиянием мечтательной фантазии художник поселился там, чтобы хорошо работать, в одиночестве и тишине.

Монастырь Брюгге мало-помалу приходил в упадок... Медленное угасание! Теперь там было только пятнадцать монахинь, точно беспрестанно редевшее стадо вокруг настоятельницы... Они занимали только некоторые из келий – с белыми и зелеными ставнями, фасадом оттенка дождя, – но нельзя было различить, какие были заняты, какие пусты, так как стекла одинаково отсвечивали, имели скромный вид, стремились только отражать вязы, растущие на площадке, и стоящую напротив часовню, – быть верными зеркалами обители.

Вследствие этого странноприимный дом, за недостатком монахинь, отдавался внаймы светским людям, нескольким старикам; Бартоломеусу пришла мысль устроить там свою мастерскую. Это жилище было настоящим монастырем, со стенами, покрытыми известкой. Он не нуждался в большой комнате, так как, за неимением заказов на декоративные работы, до сих пор не полученные им, он покорно ограничил себя созданием картин на мольберте, небольшими полотнами, которые он медленно рисовал, соединял, беспрестанно усовершенствовал ради одного наслаждения творчества. Никакой заботы о продаже, ни какого желания нравиться!.. У него были небольшие средства, на которые он мог жить просто, и он удовлетворялся этим. Здесь он работал плодотворно. Правильное освещение, одно из тех дрожащих освещений, которые можно встретить на севере, – когда солнце кажется серебряным через неопределенную серую дымку, – входило в окна. И какое уединение, какая безмолвная обстановка! Бартоломеус работал под звуки нескольких редких гимнов, распевавшихся хорошим монашеским хором. Он видел монахинь, когда они возвращались, одна за другой, в свои домики, напоминая овец, возвращающихся в овчарню. Он изучил и набросал некоторые из их движений, их тихие жесты, их прямую походку, колыхание белых головных уборов, в особенности, складки их черных одежд, словно трубы органа. Он мечтал стать художником монахинь, набросал несколько картин, вдохновившись ими, собирал без конца рисунки, наброски, всегда находясь у окна, внимательно приглядываясь. Затем это ему надоело, он нашел это искусство слишком материалистическим, слишком зависящим от формы и пластики жизни. Он стал искать в самом себе, направился в другую сторону.

Известие, сообщенное Борлютом, еще раз поколебало его идеал, всю его жизнь.

– Ну, ты доволен? – спросил его друг, видя, что он весьма равнодушен.

– Несколько лет тому назад я был бы счастлив, – отвечал художник. – Теперь я занят другими планами.

– Но у тебя, по твоим же словам, была способность, в особенности к фрескам. Ты считал декоративное искусство высшим проявлением художества.

– Может быть, но есть еще более интересное искусство!

Бартоломеус направился тогда к углу старой приемной монастыря, с светлыми стенами, служившей ему мастерской; он перебрал полотна, картины в рамах, которые все были перевернуты, выбрал одну из них, задумался, затем взял ее и поставил на мольберт.

– Вот! – сказал он. – Несколько предметов в особом освещении – это изображение окна в октябрьские сумерки.

Борлют смотрел, постепенно увлекаясь, приходя в восторг. Это была не живопись, а что-то другое, что-то лучшее! Можно было забыть о всех обычных приемах, которые, к тому же, все сливались: тут был рашкуль, с светлыми оттенками краски, умелое соединение пастели, рисунков карандашом, тушью, таинственных штрихов... В картине чувствовался вечер. Это были точно тень и молчание, выставленные под стеклом.

Бартоломеус прервал его:

– Я хотел показать, что предметы чувствительны, страдают от приближения ночи, замирают с последним лучом. Но этот луч тоже полон жизни; он также страдает; он борется с тем-

нотой. Если вы хотите – это жизнь предметов. Во Франции это называли бы *nature morte*¹⁴. Но я подразумеваю не то. По-фламандски это выражается еще лучше: молчаливая жизнь.

Художник показал другое произведение. Это была не очень большая фигура божественной женщины, одетой в костюм без определенной эпохи, окруженной нежными колонками, целым расцветом капителей.

– Это, – сказал Бартоломеус, – архитектура. Она точно *измеряет небо*... Она имеет в виду башню, на которую должна туда подняться и о которой она мечтает.

– Право, это чудесно, – сказал Борлют, серьезный и возбужденный. – Но как мало людей поймет тебя, твое искусство!

– Однако я хочу выполнить в этом смысле мою декоративную работу для города, – сказал Бартоломеус. – Пусть не понимают! Главное состоит в том, чтобы творить красоту. Я работаю прежде всего и в особенности для самого себя. Необходимо, чтобы я одобрил свой труд, чтобы он нравился мне самому. Что такое значит нравиться другим, если не нравишься самому себе? Это то же самое, что судьба позорного человека, выдающего себя за добродетельного. Разве его вследствие этого меньше будет мучить совесть? Самое главное для внутреннего удовлетворения – быть озаренным благодатью настроения. Существует и художественная благодать. Искусство является ведь тоже чем-то вроде религии! Надо любить его для него самого, для наслаждения и утешения, которое оно дает, потому что оно является самым благородным средством забыть жизнь и победить смерть!

Борлют слушал, как говорил художник, волнуясь при звуках его твердого и тихого голоса, точно он говорил по ту сторону времени. Его черная борода походила на редкий кустарник; худой и бледный, он, казалось, обладал пламенным, лихорадочным профилем поклоняющегося монаха. Все вокруг, вся его мастерская, – бывшая приемная монастыря, – имела вид кельи. Никакой роскоши: на стенах – только несколько кусков старых риз, кончиков епитрахилей, – бледных тонов, – для того, чтобы внушить себе представление о столетних соборах, отмененных процессиях; затем копии с картин фламандских примитивных художников, робких и ясновидящих, которые были его любимыми учителями; запрестольные образа, триптихи Ван-Эйка и Мемлинга, изображавших только Благовещение, поклонение волхвов, Богородицу, Младенца Иисуса, ангелов с радужными крыльями; святых, играющих на органе, как на гусях. От этих древних литургических шелковых тканей и мистических образов вокруг Бартоломеуса создавалось настроение кельи и искусства, как религии.

– К тому же, – закончил Бартоломеус, – я всегда понимал художника, как своего рода священника, служителя идеала, который также дает обет нестяжания и целомудрия... – Он прибавил с улыбкой: – Не потому ли я остался холостым?

– Ты хорошо сделал, – заявил Борлют, который вдруг принял озабоченный вид.

– Как! Ты одобряешь мой образ действий, а сам только что женился?!

– И да, и нет.

– Значит, ты не нашел счастья?

– Никогда нельзя найти такого счастья, на которое надеешься.

– Значит, ты вообразил Барбару ангелом, а она оказалась женщиной... Все они более или менее прихотливы, легко увлекаются. Барбара, в особенности, должна быть такою. Не правда ли, это – испанка, унаследовавшая кровь победителей, католический и неукротимый дух господства инквизиции, заставлявшей находить наслаждение в чужих страданиях? Ты этого не подозревал? Однако это было очевидно, потому что даже со своим кротким отцом она не могла ужиться. Как же ты смотришь на вещи? Ты неясно представляешь себе жизнь! Одно время я хотел предупредить тебя, но ты уже любил ее...

¹⁴ Натюрморт (фр.).

– Да, я любил ее; я люблю ее и теперь, – сказал Борлют, – я люблю ее странным образом, как только можно любить таких женщин. Это чувство очень трудно анализировать, так как оно изменчиво. Она сама так часто меняется! Порывы, нежное забвение, ласка отдающегося существа, слова, точно цветы, радостные уста... Затем... из-за пустяков, неверно понятого слова, опоздания, доброжелательного замечания, раздражительного движения, – начинается целый разгром! Все искажается, лицо и мысли, нервы напрягаются, заставляют ее произносить глупые, жестокие, быть может, бессознательные слова...

Борлют остановился, вдруг смутившись, удивляясь своей чрезмерной откровенности. Утром у него была новая сцена с Барбарой, более жгучая, чем раньше, наполнившая его душу заботами о будущем. Это произошло так скоро после их свадьбы! Но, может быть, он преувеличивал? Он говорил под влиянием только что вынесенного впечатления. В общем, тревоги были редки, точно несколько дождливых дней в течение их трехмесячной совместной жизни. Это было, конечно, неизбежно, – закон самой природы! Борлют успокаивался, снова увлекался Барбарой, ее смуглой красотой, ее дорогим ротиком. Он слишком много нажаловался на нее. Это была вина Бартоломеуса, вызвавшего его на это. К тому же, художник казался слегка нерасположенным к Барбаре. Может быть, она отвергла его когда-то? Кто знает, быть может, он был однажды побежден и очарован ею? Чувство обиды заставляло его заблуждаться. Борлют сердился теперь на себя за то, что тот анализировал Барбару, принимал участие в осуждении. Он сердился на него за то, что признался ему и вдался в излишние откровенности. Он сердился и на самого себя. Возвращаясь домой, в свое жилище на берегу Дивера, проходя по набережной мимо тихих вод, Борлют чувствовал, как в нем растет сожаление, что-то вроде угрызений совести от разглашенных им неприятностей, – при виде благородных лебедей, точно покрытых снегом, которые, находясь в плену у каналов, во власти дождя, тоски колоколов, в тени от остроконечных зданий, сохраняют неприкосновенность безмолвия и жалуются, почти человеческим голосом, только в минуту своей смерти...

X

Ван-Гюль после замужества Барбары перестал быть антикварием. Он избавился от своей старинной мебели, древних безделушек, оставляя из них только самые драгоценные для себя самого и своего дома. Он радовался тому, что у него есть достаточно средств, чтобы избавить себя от беспокойных посещений любителей, приезжих иностранцев, входивших в нему, рассматривавших его вещи и дотрагивавшихся до некоторых предметов кончиками пальцев с тем удовольствием и с тем наслаждением, которое испытывают только руки коллекционеров, одаренных тонким осязанием. Эти посетители чаще всего уходили, ничего не купив. Что касается его, то он состарился и желал покоя, принимая все же у себя, по старой привычке, по понедельникам вечером, Борлюта, Бартоломеуса и других, так как он не интересовался больше фламандским делом, которое он считал выродившимся и ставшим добычей политиков.

Затем, втайне, он прежде всего решил на это отречение с целью вполне отдаться преследовавшей его мысли, составлению своей коллекции, которая все увеличивалась, усложнялась. Ван-Гюль теперь заботился не только о приобретении прекрасных или редких часов. Он начал любить их иначе, чем обыкновенную *nature morte*. Конечно, их внешний вид, устройство механизма, их значение в искусстве, все это также занимало его. Но если он собирал их в таком количестве, то это происходило и по другой причине, – с целью удовлетворить его странной заботе о *точности времени*. Он не удовлетворялся тем, чтобы они были интересны. Он приходил в отчаяние от разницы времени, которую они показывали. В особенности, – в минуту боя! Одни очень старинные часы были испорчены, ошибались в том счете времени, который они производили так давно. Другие часы отставали, – например, маленькие часики *Empire* с почти детским голоском, точно еще не вполне взрослые часы!.. В общем, стенные и башенные часы

никогда не сходились. Они точно бегали друг за другом, звали, теряли, искали друг друга на различных перекрестках времени.

Ван-Гюль был очень недоволен тем, что не находил в них согласия. Если живешь вместе, не лучше ли походить друг на друга? Ему хотелось, чтобы они все шли одинаково, т. е. думали одно и то же; думали, как они показывали, не сбиваясь с пути, один и тот же час, по данному сигналу. Но это слияние было бы чудом, которое казалось ему до этих пор невозможным.

Это было то же, что желать, чтобы все морские камни, собранные с различных сторон горизонта и обмывавшиеся столькими неравными морскими приливами, были одинаковы. Однако он пробовал! Он научился у одного часовщика, имел теперь понятие о колесах, пружинах, зубцах, драгоценных камнях, тонкой системе зубчатых колес, цепочках, циферблате, о всех нервных мускулах, целой анатомии этого стального и золотого существа, ровный пульс которого отмечает жизнь времени. Он купил необходимые инструменты, пилочки, тонкие спицы, мелкие приспособления, чтобы переводить, полировать, устраивать, поправлять, излечивать нежные, впечатлительные организмы. С помощью наблюдения, терпения и тщательного ухода, задерживая одни часы, подвигая другие, помогая каждому по мере их слабости, может быть, когда-нибудь он пришел бы к тому, что было его настойчивой мечтой, его навязчивой мыслью, ставшей теперь более точной и ясно выраженной: наконец, увидеть их в полном согласии, услышать их, хотя бы один раз бьющими в одно и то же время, в одну и ту же минуту, с часами на башне. Достичь этого идеала – *единства часа!*

Мания Ван-Гюля оставалась неизменной. Он вовсе не отчаивался. Он проводил долгие дни в своем музее часов, стараясь ставить одинаково циферблаты, все еще мечтая о тождественном времени, отдаваясь с удовольствием своим интересным опытам с часами. Стоя у своего станка с увеличительным стеклом в глазу, он узнавал, как функционируют пружины, изучал небольшие недомогания колес, – бацилл, находившихся в крошечных пылинках... Все это увлекало его, как открытия в лабораториях.

Отрада, доставляемая навязчивой идеей! Удовлетворение жизни, поглощенной каким-нибудь идеалом! Нежные сети, куда нисходит Бесконечность, как солнце в кусок зеркала, находящийся в руках ребенка...

Покой и тишина жилища, занятого одной только мечтой! Ван-Гюль чувствовал себя счастливым, в особенности после отъезда Барбары, раздражительность и ссоры которой волновали и наполняли резкими криками это одиночество, где раздавалось только правильное биение часов.

Было слышно и биение сердца Годеливы, но оно было такое тихое! И так подходило, думал Ван-Гюль, к его сердцу! Быть может, она незаметно внушила ему мечту об единстве его часов. Разве это не было осуществимо по отношению к механическим колесам и пассивной жизни предметов, раз он достиг с Годеливой более сложного и таинственного слияния двух существ?

Даже их занятия казались сходными. В то время как он разбирал таинственные нити времени, все внутреннее устройство часов, Годелива, оставаясь все более и более дома, придумывала сочетания белых нитей, не менее тонких и запутанных, на своей подушке для кружев.

Она тоже старалась объединить их, привести бесчисленные нити в одно строгое целое и создать из них кружевное покрывало, которое она, ставши теперь очень набожной, обещала Мадонне, находившейся под стеклом, на углу улицы, где они жили... Эта работа должна была занять много времени, но у нее был досуг в ее однообразном существовании, немного уже приближавшемся к участи старой девушки. Она создавала постепенно цветы, розетки, эмблемы, – отдельные части обещанного покрывала. Разве это не походило на собирание последовательных рисунков перед достижением цельности покрывала?

Сходство! Тождество! Жизнь вдвоем, когда один является другим, одновременно и поочередно! Один говорил о том, о чем другой думал. Один смотрел глазами другого... Они

без слов понимали друг друга. Живя постоянно вдвоем, они стали походить на зеркала, расположенные друг против друга, причем каждое из них отражает предметы, уже отраженные в другом. Ван-Гюль любил Годеливу и ревновал ее. Прежде он страдал при мысли, что какой-нибудь мужчина мог бы полюбить и целовать ее. Но он обожал ее, в особенности как доказательство своего существования. Ему казалось, что без нее он был бы мертв.

XI

Выше жизни! Борлют снова ощутил это чувство, поднимаясь на башню в час игры. Он только что перенес новые сцены с Барбарой, из-за пустяков, внезапной вспышки, неожиданного потрясения всех ее нервов, во время которых ее личико искажалось. Только ее слишком красные губы отчетливо выделялись на бледном от гнева лице. С них слетали жестокие, нелепые, торопливые слова, падавшие, словно камни. Каждый раз Борлют оставался пораженным, в недоумении, при виде этой распушенности нервов, которая, как ему казалось, каждую минуту могла еще ухудшиться... И после этих ссор он оставался печальным, усталым даже физически, как будто он боролся против стихии, против ветра во мраке.

Теперь, когда он поднимался на башню, в день, назначенный для игры, ему казалось, что он постепенно удаляется от своих неприятностей, покидает жизнь.

Утренние события делались такими далекими! Пространство сообщает событиям то же отдаление, что и время. Каждая ступенька темной лестницы создавала расстояние года. С каждым шагом он освобождался понемногу от своего горя, неподвижного, как его жилище, уменьшавшегося с ним вместе по мере отдаления, становившегося неясным в массе города...

Выше жизни! Да, на самом деле! Что значило теперь его жилище, такое маленькое на берегу Дивера, почти незаметное среди деревьев, тускло отражавшееся в канале, который нельзя было более рассмотреть. Барбара являлась тоже короткою тенью, там, в жизни... Все это было мелко и суетно! Мало-помалу он освобождался от своих воспоминаний, от целого человеческого груза, усложнявшего его восхождение.

Чистый воздух вскоре проник через амбразуры, щели, открытые террасы, по которым ветер проносится, как вода под аркою моста. Борлют почувствовал себя освеженным, обновленным этим широким порывом ветра, приходившего от небесных берегов. Ему казалось, что ветер очищал его душу от мертвых листьев. Ему открылись новые пути, ведущие далеко. Он нашел в своем внутреннем мире новые лужайки. В конце концов, он постиг самого себя.

Забвение всего, с целью овладеть собою! Он испытывал ощущение первого человека в первый день его жизни, когда еще ничто не произошло с ним. Сладость метаморфозы! Он обязан был ею высокой башне, достигнутой вершине, где зубчатая площадка казалась алтарем Бесконечности.

С такой вышины нельзя было более различать жизнь, понять ее! Да! каждый раз у него кружилась голова, являлось желание потерять равновесие, броситься, – но не по направленности к земле, к пропасти, к спиральям колоколен и крыш, показывавшихся там, внизу, в глубине. Нет, он чувствовал притяжение *пропасти высоты*.

Постепенно возраставшее заблуждение!

Все смешивалось в его глазах, в голове, из-за бешеного ветра, безграничного пространства, слишком близких облаков, продолжавших свои скитания в его душе. Наслаждение, доставляемое пребыванием на высоте, покупается дорогой ценой!

Борлют смутно сознал это тотчас же. Уже замечание Бартоломеуса в тот день, когда он напрасно открылся ему относительно Барбары, предупредило его и внушило ему беспокойство: «Ты, значит, неясно представляешь себе жизнь?»

Теперь слова художника пришли ему на ум, охватили его, как призыв, как угрызение совести. Нет, он неясно представлял себе, что с ним, вот почему он был всегда грустен и несча-

стен. Нет, он неясно представлял себе жизнь! Он ни о чем не догадывался, не подозревая никого, смотрел, не видя, не имея возможности решить, взвесить свои слова, распознать тех, с кем он встречался. Борлют подумал, что это – вина башни. Каждый раз, когда он спускался с нее, возвращался в город, он оставался грустным, с отуманенным зрением и умом.

Ему казалось, что он взглянул на жизнь с точки зрения Вечности. Он продолжал так смотреть на нее. Все его горести происходили от этого. Другой человек догадался бы, проник в мрачный характер Барбары, в болезненное состояние, приступы нервов, которым она была подвержена. Другой бы устроился, нашел средство настоять на своем, взять верный тон, утешить словом властным или тихим взглядом. Другой, более опытный и наблюдательный, сумел бы ориентироваться в этом лабиринте нервов.

Он же оставался опечаленным, пораженным, неловким, к тому же – умевшим только страдать тайно, плакать о самом себе, отдаваться воле ветров. По крайней мере, у него было прибежище в башне, куда среди его великих огорчений он не переставал ходить. Это было близкое прибежище, скорое забвение, – и он спешил отнести наверх свое окровавленное сердце, обмыть его там в живительном воздухе, как в море.

Таким образом, башня была одновременно болезнью и исцелением. Она делала его неспособным к жизни и исцеляла его от любви к ней.

Сегодня еще раз Борлют почувствовал себя сейчас же успокоенным, выздоровевшим от только что испытанных огорчений. Тишина действовала, как бальзам; ближайшие облака редели, точно превращались в корпию...

Достигнув вершины, он увидел город у своих ног, отдохавший, очень спокойный. Ах, какой урок тишины! Ему стало стыдно перед ним за свое взволнованное существование. Он отрекся от своей несчастной любви во имя любви к городу. Последний снова захватил его, овладел им целиком, как в первые дни фламандской пропаганды. Как красив был Брюгге при взгляде на него с высоты, с его колокольнями, остроконечными крышами, уступы которых казались тоже ступеньками, чтобы подняться к мечте, перенестись к чудному прошлому!

Среди крыш – каналы, обрамленные зеленью, тихие улицы, где проходит только несколько женщин в плащах, медленно раскачивающихся, как молчаливые колокола. Летаргический сон! Сладость отречения! Царица в изгнании и вдова Истории, желавшая только вылепить свою собственную гробницу! Борлют содействовал этому. Думая об этом, он снова испытывал радость и гордость; он искал, делал выкладки, окидывая взором бесчисленные здания в городе, древние дома, редкие фасады, которым он, так сказать, возвратил их прежний вид. Без него город стал бы развалиной или был бы заменен новым городом.

Он спас его своими реставрациями. Возрожденный таким образом, он не исчезнет, быть может, переживет века. Он сам сделал это чудо, в возможности которого многие сомневались, даже Барбара, которая, как его жена, могла бы гордиться им, а между тем постоянно огорчала его таким жестоким и презрительным обращением.

Он был великим художником в области своего искусства: он осуществил безымянное, не доставившее ему славы, но все же чудное дело, если только его поймут. Он набальзамировал этот город. Став мертвым, город мог бы разложиться, разрушиться. Он сделал из него мумию, окруженную, как повязками, его неподвижными водами, его плавно поднимающимся дымом; украсил его позолотой, фасадами, разноцветною живописью, – точно золото и мази на ногтях и зубах, – между тем как лилия Мемлинга была положена поперек его тела, как древний лотос на девах Египта...

Благодаря ему, Брюгге сделался таким торжествующим, полным красоты, – так как его смерть была украшена. В таком виде он приобрел вечность не менее, чем самые мумии, – погребальное бессмертие, в котором нет ничего печального, так как смерть там превратилась в произведение искусства.

Борлют приходил в восторг; он парил в своей одинокой мечте. Что такое значили неудачи в любви, женские капризы, огорчения, сопровождавшие его еще так недавно, когда он поднялся на башню?

– Все это не имеет значения, – говорил он сам себе...

Он подумал, что не следует обращать внимания на все ничтожное и временное, когда предстоит такая задача, как у него, которую надо было еще довершить, чтобы о ней сохранило память потомство.

Горделивое чувство опьянило его. Он увидел себя великим властителем города, как будто башня была его настоящим подножием.

В эту минуту наступил час, назначенный для игры колоколов. Борлют сел за клавиши, нажал педали. Сейчас же башня огласилась звуками. Она воспевала радость, гордость овладевшего собой Борлюта. На простой свирели из тростника первобытный пастух, первый музыкант, рассказывал о своем счастье в любви, своем горе от измены, своем опьянении жизнью, своих печалях, своей боязни мрака, которая несколько смягчилась, когда он перебирал пальцами, доставляя себе этим хоть немного света... На каменной флейте высокой башни Борлют изливал свою душу. Ужасное признание! Все тайны его души разглашались. Можно было судить по тем мелодиям, которые он играл, была ли светла или мрачна его душа.

На этот раз это были весенние песни, целое пробуждение леса, дрожание листьев после дождя, звуки рога и охота на заре. Колокола скакали, бежали один за другим, скоплялись, рассыпались, как чуткая и разнообразная свора... Борлют, оживившись, господствовал над их шумом; его руки дрожали, – словно в порывах ветра пахло добычей. Он мечтал о добыче, будущей победе; он чувствовал себя сильным и торжествующим, и в то время, как он ударял пальцами по клавишам, у него был вид укротителя, который разжимает зубы побежденного животного.

Борлют почувствовал себя снова успокоенным, мужественным, таким далеким от своего горя и от самого себя, уже настолько изменившимся! Ему казалось, что он путешествовал, уехал после печали или несчастья, которое сглаживалось, стиралось в его душе. Временами оживали воспоминания, мысль, что надо возвратиться в дом, где он страдал... Ах, если бы путешествие могло продолжаться вечно, вместе с забвением! Борлют в такие дни даже после игры оставался долго в башне. Так и в этот день он замедлил с возвращением, взобрался на площадку, мечтал в стеклянной комнате, из которой видны были вдали сельские пейзажи, прогуливался по залам, дортуарам колоколов. Добрые, верные колокола, послушные его призыву! Он ласкал их, называл каждый по имени. Это были его друзья, его верные утешители. Конечно, им люди доверяли печали, разочарования, худшие, чем у него. Они всегда были добрыми, хорошими советчиками, знающими жизнь. Ах, как хорошо было оставаться среди них! Борлют почти забыл о настоящем; он стал современником колоколов, и ему начинало казаться, что горе, от которого он страдал, случилось с ним очень давно, быть может, несколько веков тому назад...

Но никогда нельзя избавиться совсем от самого себя! После иллюзий, навеваемых мечтою и вымыслом, снова проявляется действительность, и достаточно малейшего случая, чтобы восстановить ее целиком. Это напоминает раздирающее сердце, пробуждение, еще большую печаль, когда, – после сна, во время которого мы видели живым умершего накануне человека, – мы снова находим на заре неподвижный труп, украшенное ложе, священную зелень, стоящую в воде, и зажженные свечи!

Борлют отрекся от всех воспоминаний, казался торжествующим, свободным, спокойным, как колокола, и, так сказать, освященным веками, как они, когда, рассматривая и слушая их, он очутился перед колоколом Сладострастия, полным греха, который вначале возбуждал его, внушал ему страстные мысли, взволновал в нем любопытство и любовь к Барбаре. Этот колокол искусил его, отдал его во власть этой страсти, которая теперь кончалась так дурно. Вне-

запно он почувствовал как бы возврат к жизни, призыв человечества, проникший по ту сторону жизни, где он скрывался, получал новый облик и вкушал уже Вечность. Теперь слишком человеческий колокол нарушал очарование забвения. Он снова становился самим собою. Ему казалось, что он находится в присутствии Барбары. Она занимала в его жизни такое же место, как этот колокол в башне. Эта бронзовая одежда, твердая, но возбуждающая, казалась ее платьем. Сильная чувственность, телесное опьянение, поднимались от него, окружали его двусмысленными жестами, ненасытными поцелуями. На металле колокола можно было видеть бесконечное число отдающихся женщин. Подобно этому, Барбара заключала в себе для него всех женщин. Она совмещала в себе одной их многочисленные позы, изображенные на этих сладострастных барельефах. Постоянное возбуждение его желаний! Стоя перед колоколом Сладострастия, Борлют понял, что напрасно мечтал о свободе. Жизнь сопровождала его до вершины башни. Барбара находилась здесь, уже получив прощение. Он почувствовал, что по-прежнему желает ее. Все это происходило по вине непристойного колокола. С самого начала он был сообщником Барбары! Когда Борлют увидел колокол в первый раз, он сейчас же подумал о Барбаре. Он нагнулся и стал смотреть на колокол, как будто это была женская одежда. Он начал представлять себе обнаженное тело.

Теперь колокол Сладострастия снова начал овладевать им. Точно сама Барбара, в бронзовой одежде, поднялась на башню, прильнув к нему, искушала его, уже забывая сама – хотя и без раскаяния – о недавних сценах и нанесенных ею ранах.

Все равно! Она приносила с собой воспоминания о лучших вечерах, с помощью образов, которые находились на ее одежде; она напоминала замирающую от наслаждения чету, – какую они когда-то были, – воссозданную бронзой...

Борлют почувствовал, что он еще в ее власти. Напрасно он думал, что уже стал *выше жизни*. Напрасно он считал себя освобожденным и одиноким! Барбара преследовала его, подсматривала в эту минуту, искушала его, побеждала еще раз. Барбара находилась в башне, скрытая в колоколе. Борлют не мог поэтому забыть ее, забыть жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.